

Наталия Перевезенцева

Разъедемся на Разъезжей



ОСТРОВ

Санкт-Петербург
2025

УДК 821.161.1
ББК 84(Рос-Рус)6
П27

Книга издана при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации
и техническом содействии Союза российских писателей.

Перевезенцева, Наталия

П27 Разъедемся на Разъезжей / Наталия Перевезенцева. — СПб.:
ООО «Издательство «ОСТРОВ», 2025. – 196 с.
ISBN 978-5-94500-217-3

Наталия Перевезенцева — петербургский поэт, краевед, член Союза российских писателей и Союза писателей Санкт-Петербурга. Автор пяти поэтических книг, а также книг, статей, радио- и телепередач по истории Петербурга. Лауреат ряда премий и конкурсов, в том числе победитель III литературного конкурса им. С.Н.Сергеева-Ценского (номинация поэзия) (Тамбов, 2023 г.), благодаря чему получила возможность издать эту книгу.



© Перевезенцева Н. А., 2025
© Ирина Чекир, оформление, 2025
© ООО «Издательство «ОСТРОВ» 2025

ПРЕДИСЛОВИЕ

От автора: Стихи я писала с детства. Помню некоторые из своих первых опусов. Например:

Африка

*Пальмы над рекой,
месяц золотой,
светит в воду ясно,
чисто и прекрасно.
(4 года)*

Или такое элегическое сочинение:

*Люблю тебя, о Летний Сад!
Деревья старые шумят,
и распевает соловей
далёкой юности моей.
(6 лет)*

В последнем — следы явного знакомства с классикой. Что поделатъ, если твой отец страстно любит поэзию, в доме хорошая библиотека, а на ночь вместо сказок тебе читают «Песнь о Гайавате» или лермонтовского «Демона». Никуда не денешься.

Наконец, дошло до того, что я перепечатала стихи на машинке, собрала в красивую папку и с замиранием сердца пришла в ЛИТО Глеба Сергеевича Семёнова.

В моей жизни было не так много абсолютных неоспоримых удач, и это — одна из них. Глеб посмотрел мои стихи, улыбнулся и сказал: «А что, пойдёт...».

Так и пошло...

От Бориса Григорина: Чтобы объективно говорить о поэте Наталии Перевезенцевой, мне надо вынести за скобки 40 лет знакомства. И тогда я вижу пришедшую в ЛИТО «Нарвская застава» симпатичную девушку, которая сама выбрала ЛИТО, обзвонив все приличные дворцы культуры...

Обстоятельство, о котором я узнал от неё много позже!

У Наташи сразу были стихи с хорошей литературной родословной, живые и открытые. Она умела видеть себя со стороны, в историко-культурном контексте, который открывался тематически и постепенно.

Потом мы узнавали её другие стихи. Это были «хорошо одетые» сюжеты из прошлого, не без юмора прочитанный Серебряный век в ленинградско-петербургском изводе. Всем тогда нравилась её хозяйка воображаемого салона, «литературного слегка...»

Собственно, комната, где она жила на Пушкинской, за памятником поэту, и была многие годы открыта для друзей.

В дальнейшем выяснилось, что заниматься поэзией «слегка» — не получилось. Это дело требует всего человека. После праздника литературности обнажилось дно сюжетов и стала видна суть.

Правда, и раньше это чувствовалось в её петербургских циклах: о декабристах, о старом литераторе, о Каролине Павловой («женщине не из вторых»), о гаршинской лестнице... Трагизм второстепенности, не ставшей великой, не так ли? Но человечность таких (конечно, не «краеведческих») стихов поражала.

Думаю, за этим стояла не только начитанность, а способность вживания в атмосферу города, в судьбу персонажа. И дело тут не только в воображении, когда ты знаешь, что булочная, в которую ты ходишь, была булочной и в блокаду... «Здесь отоваривала карточки когда-то бабушка моя...»

«Путешествие во времени»(1990 год) — счастливо называлась первая книга этого автора, она обещала скольжение вдоль и полёт над, в этом было больше игры и истории, чем глубины личной мифологии...

Позже мы видим именно исповедальную лирику. Жизнь во многом перешла в стихи, как в строчке Левитанского: «Жизнь моя — литература, чёрно-белое кино!» Почему чёрно-белое?

Потому что красок в итоге остаётся только две. На «да» и на «нет».

Отсюда «обнаженная» графика поздних стихов Наталии Перевезенцевой.

Не многим поэтам свойственно такое виденье, — сначала праздничное, а потом и горькое умение посмотреть на себя со стороны, как в зеркало. Стихи, может быть, то зеркало, которое не любит тебя, а видит насквозь. Именно это почувствовал я на вечере «Треугольник» на Рубинштейна, 3, где она читала вместе с Алексеем Давыденковым. Это было говорение стихами друг с другом на высоком (пожалуй, на скрытом, не заметном публике) уровне. Отражаясь друг в друге.

Представляется, что о жизни поэта надо бы говорить не все, а как можно меньше. Так стихам лучше, укромнее, да и скромнее... Важно, что мы — из Ленинграда-Петербурга. И город всегда остается за нами. Мне лично нравится, что я живу в одном городе с ней.

I. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ (1990)

Являясь таким же противником автопредисловий, как Игорь Северянин, автор отсылает всех интересующихся его взглядами на жизнь вообще и поэзию в частности, к своим стихам. Может быть, со временем автор научится скрывать свое истинное лицо, но в первом сборнике это, увы, невозможно, потому что здесь, как на ладони, весь автор — его привычки, его биография, даже его путешествия и приключения.

Внимательный читатель по прочтении сборника легко выведет заключение о пристрастии автора к прошлому, соединенном с пылкой любовью к рассказыванию занимательных историй, а также — о некоторой его сентиментальности. Если это недостатки, автор собирается усугубить их в дальнейшем и попытаться обратить в достоинства.

* * *

Откуда чайка знает,
что пустынен
озерный вид,
холмов и сосен ряд,
что синь воды
незавершено стынет
и облака
растерянно глядят?
И отчего
уверенно и гордо
прорисовав
задуманный вираж,
она парит
на крыльях распростертых,
до совершенства
доводя пейзаж?

СЕМЕЙНАЯ ЛЕГЕНДА

1.

Погон в золотом позументе,
с арабскою вязью клинок, —
мой прадед, служивший в Дербенте,
владеть этой саблею мог.
Когда — «Господа офицеры!»,
когда — «В штыковую! Ура!».
Маневры, литавры, манеры
и пламенный пунш до утра.
...Еще не закончена драма
на фоне кавказских высот,
еще, вспоминая Имама,
гяуров мулла проклянет.
Нерусский, загадочный город
притих, притаился в ночи...
Поручик проверит дозоры,
от крепости примет ключи.
И дремлет под буркою черной,
привычно отметив во сне
протяжное: «Слу-у-шай» — дозорных,
шаги часовых по стене.

2.

Сырая полночная темень
сползает с Кефарских высот.
Но вот приближается время —
луна над Кавказом встает.
Над городом, крепостью, саклей
в ауле над бурной рекой,
где чистит отцовскую саблю

аварец — мой предок другой.
Он хмуро клянется Аллахом,
что сабля отыщет свое,
ведь есть еще конь и папаха,
и с гладким прикладом ружье.
Еще сохранились мюриды
и шелк на знаменах не стерт,
еще мы увидим, увидим:
бежит «николаевский черт».*
И ночь бесконечная длится,
и девочка спит под кошмой.
Еще ей поручик не снится,
как впрочем, и кто-то другой.
Луна разгорается грозно,
и тени в долинах черней.
И хочется крикнуть — да поздно...
В аулах седлают коней.

* «николаевский черт» — так горцы называли солдат царской армии.

В булочной

А булочная, вход с угла,
в блокаду тоже здесь была.

Кассирша в ватнике и валенках,
в платке пуховом до бровей,
пробила чек на кассе старенькой,
сдала мне мелочь поскорей,

И, греясь у обогревателя,
все повторяла: «Холода...»,
и, позабыв о покупателях,
вдруг прошептала: «Как тогда...»

Окошек ледяные арочки,
от двери холода струя...
Здесь отоваривала карточки
когда-то бабушка моя.

И девочка в подшитых валенках,
в платке пуховом до бровей,
ей отмеряла кубик маленький,
ей отпускала пару дней...

Стою у двери я растерянно,
сместились, спутались года...
Кассирша глянула рассеянно
и повторила: «Холода...»

У кладбища

В истлевших пальцах — призрачная роза...
Бесплотное полночное виденье
той фрейлины, что вызывала слезы
и страсть — тому назад семь поколений.

А рядом — бескозырки и бушлата,
и пулеметных лент соединенье —
сын революционного Кронштадта
он был — тому назад два поколенья.

Две бедных тени оказались рядом,
свое соседство осознать не в силах.
Потерянно бредут по автостраде,
проложенной по бывшим их могилам.

Почти что растворяясь в лунном свете,
бредут они, беседуют негромко...
И фрейлина вздыхает: «Дети, дети...»,
и чертыхается матрос: «Потомки...».

* * *

На лампе — бронзовый завиток,
колпак, рассеивающий тьму.
И существует домашний бог,
и не завидую я ему.

Только на миг в углу прикорнул
(не переделать домашних дел),
глядь — а хозяин ушел на войну
и не вернулся. И дом опустел.

Стоит ли бронзу мелом тереть,
дрожжи вспенивать на пирог,
если без спроса война и смерть
переступают любой порог.

Если само понятие «дом»
медленно уплывает во тьму.
Дом — это место, где мы живем
ныне. А «до» и «потом» — ни к чему.

Но если бы знала, что мой портрет,
на стенку повешенный в этом году,
здесь провисит еще много лет
после того, как совсем уйду.

И кто-то, кого и в помине нет,
но в этом доме и мне — родня,
глядя на выцветший старый портрет
по имени назовет меня.

И лампы бронзовый завиток,
как прежде, к празднику будет сиять,
и улыбнется домашний бог...
Если бы знать...

* * *

*Памяти Ивана Андреевича Баранова
и
Тимофея Гавриловича Перевезенцева*

Оба деда моих мне явились во сне
(сон на пятницу — сон не пустой).
Был один сухощав, невысок, в пенсне,
был степенным и грузным другой.

Оба деда моих... В ледяных небесах
неподвижно стояла звезда...
Их могилы остались в других городах,
я не езжу в те города.

Но сегодня... Сегодня ночные пути
привели их в мое жилье.
И один сказал: «Ты уж нас прости...»,
а другой: «Мы простим ее...»

И не помнила я именин, годовщин,
и о чем говорили со мной.
Только помню — за что-то жалел один,
и за что-то ругал второй.

Но слова затихали... Из черной дали
наползала белесая мгла...
И помочь мне они не могли, не могли,
как и я их сберечь не смогла.

...Я проснулась... Стояла звезда в окне
продолжением сна моего...
И любимый мой застонал во сне,
и я обняла его.

В ШЕСТНАДЦАТЬ ЛЕТ

1.

Как пел соловей под балконом,
весенний, бессонный, влюбленный.
В кусте, под балконом цветущем,
как в роще, как в чаще, как в куще.

Сирень ли, черемухи томной
Последние вздохи... Не помню...

Холодный предутренний воздух
врывался с балкона... И поздно
мне было семь раз отмерять,
прикидывать и выбирать.

Случилась великая милость —
влюбилась, влюбилась, влюбилась.

И если бы кто-нибудь мудрый
сказал тем ликующим утром...
Намеком коснулся, не прямо,
последнего действия драмы...

Но спали умиротворенно
все мудрые перед зарей.
И пел соловей под балконом,
оракул единственный мой.

2.

И черные ветки в тумане,
и тени скворешен.
Мечты о каком-то романе
наивном, безгрешном.

Как отзвук забытых вакаций,
возникнет, растает...
Такого романа в шестнадцать
уже не бывает.

Но стоит зиме зазеваться,
весне проявиться...
Душа — гимназистка — в шестнадцать,
и в двадцать, и в тридцать.

В коричневом форменном платье,
передник с воланом.
Дрожит от холодных объятий
весенних туманов.

3.

Сказала: «Лучше б умереть...»
и показалось — правда, лучше.
Ах, если б подвернулся случай,
недолго стала бы терпеть.

Кинжала хлад, крысиный яд,
змея из маленькой корзинки...
Так умирали по старинке
герои много лет назад.

Найти безвременный конец
в каналах северной столицы?
Ну да, мне мучиться, топиться,
а он-то выплывет, подлец.

Нет, лучше я в гробу лежу,
красивая и молодая,
но непременно — наблюдаю,
на окружающих гляжу.

И он — от горя чуть живой,
он слезно кается в обмане...
И тут-то мы из гроба встанем,
сказав: «Вот так, мой дорогой!»

...В те золотые времена
и смерть, как платье, примеряла.
Тогда она существовала,
но вовсе не была страшна.

И знала я наверняка
тогда — что лучше сталь и змейка,
чем парк, холодная скамейка,
и равнодушное: «Пока!»

Ноябрь... Листвы осенней медь...
Мой друг, я это прозревала
в шестнадцать лет, когда сказала
печально: «Лучше б умереть...»

Баллада о портрете

Любимой женщины портрет
висит на стенке много лет.

Тому, наверно, с четверть века
назад (точнее не скажу),
она ушла от человека,
в чьей комнате сейчас сижу.

Меж мной и им — полжизни порознь
(его, конечно, не моей),
судьбы блистательная повесть,
и слава на закате дней.

А то, что грустное молчанье
вдруг прерывает речь его,
еще не требует вниманья,
еще не значит ничего.

И что — портрет? Портрет — привычка,
как черный кофе по утрам,
как в девять тридцать электричка
и сауна по четвергам.

Да замени его «Данай»
иль «Незнакомкой»... но в ответ
из под вуали взгляд бросает
любимой женщины портрет.

...Хозяин кофе наливает,
хозяин разговор ведет.
Я слушаю и понимаю —
она отсюда не уйдет.

А я пошла. «Привет». — «Привет».
...Любимой женщины портрет...

СИНЕМАТОГРАФ

(фильма в трех частях)

...В ночь с 31 июля на 1 августа 1914 года посол Германии вручил Российскому МИД ноту, означающую начало войны...

1.

«Мы будем счастливы, любимый,
сегодня все преграды пали...»
Они в синематограф «Прима»
пришли, чтоб пошептаться в зале.
И в сумасшедший летний вечер,
ни фильма, ни себя не помня,
идут своей судьбе навстречу
до мебелированных, до комнат.
Там, в номере «Пале Рояля»
они счастливые заснули...
Четырнадцатый год... Рояля
стон... Тридцать первое июля.

2.

«Но, господа, я слышал сам —
и Гришка, говорят, не вечен...»
«Коньяк с шампанским пополам...»
«Какой сегодня душный вечер...»
«Мобилизация... Приказ...»
«Мои пока еще на море...»
«Нет, мне неловко слушать вас.
Он, господа, со мною спорит!..
Цивилизованный народ
теперь к убийству не склонить.
Ваш кайзер просто идиот...»
«Но, может быть...» — «Не может быть!».

Рояля голос утомленный,
его оркестр заглушает...
Мелькают пиджаки, погоны...
Последние — преобладают.

3.

По этой улице июльской,
еще не ставшей августовской,
где сиротливо в круглом сквере
поэту памятник стоит.
Где властвует доход питейный,
и где (влияние вокзала)
прогуливаются открыто
те, чей весьма греховен вид.
По этой улице, зажатой
громадами угрюмых зданий,
где флаги нищих занавесок
еще не сорваны судьбой.
Где совершаются обряды
любвонной купли и продажи,
и грузчик, вытолкнутый в шею
из кабака — ползет в другой...

...автомобиль с флажком германским
бесшумно проезжает мимо,
неспешно и неотвратимо...
«Мы будем счастливы, любимый...»
Рояль умолк... Конец сеанса.

* * *

«Христос, смилуйся над каменщиком Микаэлом»

Надпись на стене грузинского собора

Над каменщиком смилуйся, Христос.
Храни в пути от ливня и от снега,
дом от пожара, и семью от слез,
и край его — от вражьего набега.

О, смилуйся, и дай его жене
родить ему наследника, с которым
однажды утром рано, по весне,
он встанет рядом на лесах собора.

И упокой его в конце пути
на кладбище родимого селенья,
и малому кусту позволь цвести,
его надгробье осеняя тенью.

Но ежели должны и глад, и мор,
и враг — прийти в тот край, Тебе немилый,
пусть будет так — но сохрани собор
и куст над безымянною могилой.

Ущелье Армхи

По тропинке пологой
у вершин на виду
Садом Господа Бога
восхищенно иду.
Плодоносит орешник,
польхает кизил,
и над дикой черешней
голубок воспарил.
Ходят парами звери
и едят алычу...
Ни Адама, ни Змея
встретить здесь — не хочу.

Каролина Павлова

О память, ты тревожишь, манишь
и устанавливаешь связь
с той бедной Каролиной Яниш,
что также Павловой звалась.

С той бедной, бедной Каролиной,
идущей медленно домой
Мясницкой вдоль и вдоль Неглинной,
несущей зонтик кружевной.

Дрожит узорчатым покровом
тьнь на лице... Идет она —
мишень для критики суровой,
для Салтыкова-Щедрина.

Да, поэтесса не из первых,
но женщина — не из вторых.
Срывалась в крик, сдавали нервы,
но оставался грустный стих.

Но оставался Богом данный
не светоч даже — светлячок,
сквозь два трагических романа
просвечивавший горячо.

Не удостоенный оваций,
горящий чисто и светло:
«Моя напасть! Мое богатство,
мое святое ремесло».

Хозяйка салона

В года «Весов» и «Аполлона»
была бы я наверняка
хозяйкой светского салона,
литературного слегка.

Мне шелестеть по залу треном,
любуюсь в зеркале собой.
Мне улыбаться непременно
и меценатствовать порой.

Я не чуждалась бы, бесспорно,
и элегических затей.
In quarto был бы издан сборник
в венке из лавровых ветвей.

Там соловей, погибший в клетке,
там роза цвета шамуа.
Там рисовали бы виньетки
сам Бакст, а может — Бенуа.

Свет электрический — новинка,
а в опере царит «Блоха»,
и в моде — узкие ботинки,
а также — хладные меха.

...Полусмеясь, полувлюбленно
смотрю на вас из-под руки.
Литературные салоны,
о как вы к гибели близки!

Еще гостям хозяйки рады,
еще не знаете — когда
в ночи холодной Петрограда
взойдет колючая звезда.

На историческую свалку
и шамау, и соловей...
Все понимаю... Сборник жалко...
Пусть хоть какой... И без ветвей.

«Пале-Рояль»

Дом, имеющий имя, грузный дом угловой,
с голубями своими, с коммунальной стряпней,
с коридорной системой, уходящей во тьму,
с ностальгической темой — но о чем, не пойму.

Шулера и актеры, населявшие дом,
литераторов споры за дешевым вином.
Папильоток дрожанье, взгляд накрашенных глаз...
Никакого названья не имеет рассказ.

Тяжело рассветает в Ленинграде всегда.
Новый век подступает, как большая вода.
Эти грозные воды, не текущие вспять...
А богемной свободы мне уже не понять...

Но, дворцы и фасады заучив наизусть,
проходя Ленинградом, в Петербург оглянись.
И шарманочка взвизгнет, и замру у воды,
неприкаянной жизни различая следы.

Той, что плакала, пела, суежилась, лгала,
ничего не сумела, а всего лишь — была...
Но закончена тема, оборвалась строка,
петербургской богемы пересохла река.

БИБЛИОТЕКА

*В 1988 году в библиотеке АН СССР
случился страшный пожар*

1. Плач по Александрийской библиотеке

И вот — разбушевалось пламя,
и дымный столб до неба вырос.
И вот — обуглился пергамент,
и затрещал в огне папирус.

И обратились в пепел серый
все переплеты бычьей кожи,
все египтяне и шумеры,
вся мудрость — человечья, Божья,

спасенная в года лихие,
накопленная по крупицам...
О плачь, моя Александрия,
моя опальная столица.

О плачь, растратчица, гордячка,
живущая вчерашней славой.
Ищи теперь в золе горячей
принадлежащее по праву.

Обрывки, лоскутки, обломки
еще вчера дышали, жили...
И если проклянут потомки,
то радуйся, что не забыли.

Пастух на пепелище старом
расскажет парочке влюбленной:
«...и было это в дни пожара
в Александрийском мусейоне...»

2. Книга

Спасенная из огня,
она на столе у меня.
Промокли ее листы,
размыты ее черты.
сушу ее утюгом,
и нам хорошо вдвоем.

...Я, может, не так жила —
ребенка не родила,
и там, где сад-огород,
ничто мое не растет.
И ложь входила в мой дом...
И много-много о чем
я вспомню, когда сведут
на тот пресловутый суд.

Тогда, о тогда, мой друг,
послышится голос вдруг
заступницы в небесах
о ста тридцати листах.

* * *

Муравей построил дом,
сам и поселился в нем.
Двери крепки, окна редки,
пол паркетный, шторы в клетку.

«Друг мой милый, что ты, где ты,
не встречаешь отчего?
Почему не видно света
в окнах дома твоего?»

Я танцую, я летаю
изо всех стрекозых сил.
Не работница, я знаю,
но такую ты любил.

Крыльев, говорил, мерцанье...
Говорил — дострою дом...»
Вечер поздний, холод ранний,
перемешан снег с дождем.

* * *

«Как страшно...» — сказала душа.
Ну что ты, ну что ты, ну что ты...
Я буду тебя утешать
любовью своей и заботой.

Мы чаю в стаканы нальем,
нарежем лимон (не горчит ли?).
Покой, тишина — и притом
французский писатель не читан.

От лампы прабабкиной круг,
пощелкиванье в батарее...
Уют — это тоже не вдруг,
не каждый, простите, сумеет.

Признайся, что жизнь хороша,
когда без забот, без аврала...
«Полжизни, — сказала душа, —
уж прожито...» — и замолчала.

Опять ты, опять о своем.
Остаток в полжизни — немало.
Ну хочешь — уедем, уйдем
(по счастью мы рядом с вокзалом).

Платочка прощального взмах...
Ты этого хочешь?.. Ну что же.
Я знаю — в других городах
нас любят и помнят... быть может...

Зачем же бессонной порой,
блуждая в уюте домашнем,
босая, в рубашке ночной,
душа повторяет: «Как страшно...»

Грядет капитальный ремонт.
В начале второго квартала
лесами и стройматериалом
пора обеспечивать фронт
работ... Из каких-то щелей —
стоят на снегу, скособоچась,
козетки, банкетки и прочий
скарб доисторических дней.

Строкой из последней главы
убожество сломанных ножек...
Хозяйки хотели, быть может,
в починку отдать, но, увы,
но сами — как легкие тени,
шуршащие сухо цветы...
Горжетки, вуальки — сплетенье
достоинства и нищеты.

И переселенья разброд
мне мнится каким-то исходом,
каким-то семнадцатым годом,
взорвавшим налаженный ход
событий... Ямской уроженка
растеряна в комнате новой,
с удобствами, малометровой,
на птичьих правах подселенки.

...Неспешно подходит фургон,
Старуха прощается взглядом
с молочным и рынком, с фасадом
привычным, напротив окон.

С деревьями (два тополька
сажали весной в сорок пятом...)
С соседкой... Ей — Ржевка, девятый
этаж... Лифт не включен пока.

И черная тросточка-зонт
стучит по ступеням покатым,
и нет никого виноватых —
грядет капитальный ремонт.

В больнице

Спасибо, люди добрые, —
поставили кровать
вдоль стеночки у входа
и можно помирать.

Матрас в цветочек розовый,
простынки только нет...
«Ты, бабушка, бесхозная,
лежи и жди обед».

Вчера метелица мела,
и крыша за окном бела.
Скорей бы маменька пришла,
с собою забрала.

Пойдем за белые поля,
туда, где теплая земля,
где собралась моя родня
и ждут последнюю — меня.

Путешествие во времени

Входи, чужеземец, и хлеб и вино на столе.
Мы жертвы богам принесем по обычаю дедов.
Присядь и поведай: что делаешь в нашей земле,
откуда ты родом, где дом твой — без страха поведай.

Ведь мы не охотники земли чужие топтать.
Вот мой виноградник, и стадо на склоне пасется.
Орешник... Боюсь, что орехи померзнут опять,
на рынок трезенский везти их тогда не придется.

Который уж год нами правит великий Тезей...
Ты вздрогнул, мой гость,
ты испуган тем лязгом и ржаньем?
Там царский сынок над обрывом гоняет коней,
должно быть, опять захотел победить в состязаньях.

Так я говорил: здесь Тезей богоравный царит...
Но что с тобой, гость? Ты бледнеешь...
ну, молви хоть слово...
Да, царского сына действительно звать Ипполит,
и Федрой — супругу Тезея...
Но что здесь такого?!!

ЗАПИСЬ НА ПОЛЯХ АРМЯНСКОЙ РУКОПИСИ

1.

О книга моя, книга!
Застежки из ясной меди,
узорчатые заставки,
в них беркуты и медведи.
Я лучший пергамент выбрал,
семь лет просыпался с солнцем.
Я в книгу собрал заветы
святого отца Маштоца.
И ясен был мир Божий,
и колокол пел над Ваном,
когда мы несли книгу
с братом моим Варданом.

2.

О книга, моя книга!
Войной пришли басурмане.
Горели дома и нивы,
горели земля и камень.
А я, убогий калека,
смотрел, без вины виноватый,
на то, как уносят книгу,
на то, как уводят брата.
И в стон над городом Ваном
вплетались мои крики
о брате, моем брате,
о книге, моей книге.
...Когда я на пепелище
сидел, почернев от горя,
ко мне подошли соседи:
Тигран, Карапет, Григорий.

И много других, кого я
не знал до этого мига.
И тихо сказал Григорий:
«Мы выкупим нашу книгу!»
...Дай, Господи, сил поведать,
как шел я путем кровавым,
боясь посмотреть налево,
боясь посмотреть направо.
Как я по черному следу
добрел до вражьего стана,
как поднял глаза — и обмер,
увидев в цепях Вардана.
Я деньги заветные вынул,
я брата спасу от ига...
Но крикнул Вардан: «Братец!
Ты выкупишь нашу книгу!»

3.

О книга моя, книга!
Страницы в крови и гари.
Ножом переплет изрезан,
и стразов нет на футляре.
А колокол бил грозно,
и плакал сожженный город,
когда ее, как ребенка,
несли к руинам собора.
Молитесь, добрые люди,
о славном городе Ване,
о книге, моей книге,
о брате моем, Вардане.

* * *

Дом расселен и пойдет на слом,
века ровесник, доходный дом.
Дощатый крест на парадных дверях,
ветер посвистывает в фонарях.

«Я белошвейка, из самых простых,
на чердаке среди кружев чужих.
Герань... Чахотка... Голубь в окне...
Смерть запыхалась, поднявшись ко мне...».

«Я бриллианты в подкладку зашил,
всех растерял я и всех позабыл...
Но цвет петербургских покатых крыш...
Потом — Гельсингфорс... Женева... Париж...».

«Ночью холодной (не помню числа)
я не спала, я сидела, ждала...
«Вам телеграмма», — голос чужой.
Шаги на площадке... Это за мной...».

«Мне было шестнадцать... Осколок влетел...».
«Я на Петроградской попал под обстрел...».
«Я мамину шубу сменяла на жмых...».
«Мы выжили трое... из десяти...».

И гулкое эхо ушедших годов
все кружит и бьется в колодцах дворов
угрюмого дома... А в комнате голой
все плачет невидимая радиола.

Романс о Грибоедове

Уехал на Кавказ, женился на грузинке,
окончил в Тегеране дни свои.
Замешан был в каком-то поединке
из-за пучка балетной кисеи.
Тот желчный господин в очках и черном
фраке,

комедии неизданной творец,
лихой гусар на сером аргамаке,
умнейший собеседник, наконец...
...Скрипит арба, и деревянный ящик
подпрыгивает, выбоинам в такт.
И путник с любопытством надлежащим
интересуется — что перевозят так?
Что там везут?.. Арба застряла в речке,
настегивать волов — напрасный труд.
И чертыхается погонщик, и по плечи
влезает в речку, и... Что там везут?..
И лучший друг напишет мемуары,
войдут в анналы горести вдовы,
и запоют, заплачут сазандары
с тифлиских плоских крыш...

А до Москвы,
до той, где Софья старится в светелке
и сорок сороков к заутрене звонят...
И горе от ума, и счастье так недолго,
и виноват ли век, и кто тут виноват?
До той Москвы — ветхозаветной,
снежной,
где до сих пор блуждает, видит Бог,
печальная строка с несбыточной
надеждой:
«Чуть свет уж на ногах! И я у ваших
ног...»

* * *

Это русское счастье — расчистить, засеять, собрать и отдать половину... Потом отберут и другую. Корешки из под снега... С деревьев кору обдирать... «Ничего, — говорить, — ничего... Как-нибудь дозимую...».

И качается зыбка, и полог зацеплен за гвоздь, и протяжная песня вопросом звучит без ответа. Человек на пороге не странник уже и не гость, он — татарин, исправник, ответственный член комитета.

Но — топор из под лавки, но с кольями грозная рать, но засовы трещат, и огонь беспощадный ликует... На свободной земле — расчищать, засеять, собирать, отдавать половину... Потом отберут и другую.

* * *

*«Во времена Константина Великого в Римском
государстве не было великих историков,
и многое кануло в Лету...»*

Е. В. Федорова «Императорский Рим в лицах»

1.

Публий Далмаций Агенобарб...
Лучше, конечно бы: Публий Домиций,
чтоб родословной своей не стыдиться:
мать — далматинка, и прадед был раб.

Но по отцу он в каком-то родстве
с ныне почти легендарным Нероном,
впрочем, в весьма и весьма отдаленном,
и утешения нет в хвастовстве.

Значит, в году триста тридцать седьмом,
утром достойнейший Публий Далмаций
вышел хозяйством своим заниматься,
сопровожаемый верным рабом.

Медленно он продвигался вперед,
не унижаясь ревизией скарба.
Есть управитель у Агенобарба,
чтобы наладить контроль и учет.

Все же хозяйскому глазу видней,
и справедливо разгневался Публий,
видя, что прибыль на вложенный рубль,
то бишь сестерций, могла быть верней.

Он управителя тут же распек,
тот же богами бессмертными клялся,
что от зари до зари он старался,
бдил и имущество свято берег.

Публий от гнева слегка отошел,
дал управителю ряд указаний
и величаво проследовал в здание,
где накрывали для завтрака стол.

Просмаковавши фалернский букет
и разрезая салонскую дыню,
Публий подумал: «Увы мне, увы мне!
В Риме великих историков нет.

Значит, как мошка, червяк или краб,
не удостоясь вниманья потомков,
жизнь проживет хорошо, но негромко
Публий Далмаций Агенобарб».

Он застучал по столу кулаком,
вмиг управитель с поклоном явился.
Публий сурово к нему обратился:
«Кто из рабов не искусен ни в чем?»

«Разве что этот... горбатый Автолик...»
Публий кивнул: «От домашних работ
освобождаю. Пускай подойдет.
С этой минуты он будет историк».

Бедный Автолик на свет извлечен,
дабы на поприще новом трудиться.
«Будешь писать меня Публий Домиций.
Ясно? И дать ему чистый хитон».

2.

Век был двадцатый с рожденья Христа.
Нервно стоял над раскопом гигантским
сэр Друммерсфильд, археолог британский.
Месяц копали — и нет ни черта.

Вдруг от удара научных лопат
старая амфора треснула... Свитки
так и посыпались... Золота слиткам
наш археолог был меньше бы рад.

Древней латыни металл зазвучал,
славя Домиция Агенобарба,
Публия тож... «I pay double, pay double!»*
бледный британец в экстазе вскричал.

Тихо вздохнули в гробах цезаря,
может, Максенций, а может — Лициний.
При дефиците историков в Риме
все их деянья пропали зазря.

Войны, победы, вселенский размах,
обожествленье... А нужен Автолик
в чистом хитоне да письменный столик.
И обеспечена слава в веках!

* «Я плачú вдвойне, плачú вдвойне!» (англ).

II. СТИХИ. ВТОРАЯ КНИГА (1996)

Вторая книга... Ничего сакрального в этой нумерации нет. Ведь не «третья», не «седьмая» и тем более — не «тринадцатая». Появление «второй» после «первой» не так уж обязательно, но без нее — ни «третьей», ни «седьмой». Необходимый этап, как говорится. Вот это он и есть...

Вторая книга как бы «добирает» то, что не вошло в первую, но одновременно идет (должна идти) дальше. В какую сторону — судить читателю, если таковой объявится, а я добавлю только, что посвящаю эту книгу моим друзьям-поэтам и ЛИТО «Нарвская застава», где все мы когда-то встретились.

* * *

В тот год оркестры духовые
играли около метро,
и в чемоданчики кривые
летели медь и серебро.

Оркестры разное играли,
а мне казалось — все одно.
Играли, словно провожали,
играли, как заведено

в провинции малоэтажной,
где времени замедлен ход,
где красный гроб в цветах бумажных
покачивается, плывет

над головами... Мимо бани,
универмага, нарсуда
оркестра медное дыханье
его уносит навегда.

И я стою, случайный зритель,
вжимаюсь в холодок стены,
и повторяю я: простите,
своей не ведая вины.

...Труба мелодию выводит,
выходит из метро народ,
и оживление в народе
рождают вальсы и фокстрот.

* * *

И красная, и желтая звезда,
и полумесяц на зеленом фоне...
Светил небесных сходит череда
в кровавое людское беззаконье.

И вот они на флагах и в гербах,
и вот они пылают грозным светом...
— Сестра моя, мы были в небесах
другими, помнишь?
— Брат мой, как же это?..

Зачем лежат в руинах города,
и ветер шелестит пустой соломой...
Ведь Господу угодна лишь звезда,
которая встает над спящим домом.

ЧУМА

1.

Чума вошла в мой город невозбранно.
Ни стены толстые, ни бдительная стража,
ее не задержали. Окаянной
паршивой крысой проскользнула... Даже
не шелохнулись вымпелы на башнях,
не прогудел набат во тьме кромешной.
Мой город спал — и мирный день вчерашний
перетекал в сегодняшний неспешно.

2.

Служил обедню старенький епископ.
Горели свечи. Становилось трудно
дышать в подземных гулких коридорах,
полузатопленных, куда не доходили
приказы обезумевших властей.
Сюда боялись стражники спускаться,
здесь заплутать могли и днем и ночью
непосвященные... А мы молились
за тех, кто оставался наверху.
...Они отталкивали горькое лекарство,
вдыхали теплый сладковатый воздух,
шептали посиневшими губами
всегда одно и то же: «Не хочу
я твоего питья, твоей молитвы,
и жизни не хочу — из рук твоих».

3.

Стена, поросшая травой,
остатки башен.
Давно покинут город мой,
давно не страшен.
В покоях княжеских живут
лисицы вольно.
Лесные птицы гнезда вьют
на колокольне.
И ровные ряды могил
исчезнут скоро.
Мир позабыл, а Бог простил
мой город.

* * *

Как я любила бы эту землю,
Эрехтейон ее, Парфенон.
Холмы ее вижу, речам ее внемлю,
богов почитаю и чту закон
гостеприимства...

О путник усталый,
огонь в очаге и хлеб на столе.
Что там в Милете? На Лемносе малом?
В гиперборейской дальней земле?
Где люди с песьими головами,
белесые ночи, серые дни...
Наших небес ярко-синее пламя
вряд ли бы выдержали они.
Нашего моря прозрачные воды,
скал белизна, резной виноград...
Путник, но там, где низкие своды
небес прижались к земле, говорят
также: «О милая родина...», — плачут,
если покинут, хотят умереть...
Или у них это как-то иначе,
и все равно им... Путник, ответь...

* * *

В. Благословенскому

Мир стянут нитями авиатрасс,
расчерчен курсами кораблей.
Я провожаю за море Вас,
не возвращаются из-за морей.

Обратный корабль и самолет
есть — и билеты во всех городах.
Но тот, кто за море попадет,
тот не воротится никогда.

Ах, Елисейские ли поля,
Иерусалим ли, Бомбей, Бродвей...
Обетованная — вся земля,
кроме страны моей.

* * *

Рассказ о любви: офицер, актриса,
эйфория победы, конец войны...
Но офицер из одной страны,
она — из другой... И приходят крысы
в погонах ли, в штатском... Дитя отберут,
названное в честь Великой Победы.
Тюрьма, убийство, отъезд... Голливуд
какой-то, а не семейные беды, —
так сказал американец, прочтя журнал,
так сказала шведка, пожав плечами.
А тот, кто ничего не сказал,
это мой соотечественник... За нами,
за каждым — такой семейный сюжет,
такой полыхающий красный свет,
такие крысы под каждой дверью,
что западный житель, прочтя рассказ.
может быть, пожалеет нас,
но в глубине души — не поверит.

* * *

И нету ни ада, ни рая,
ни света, ни вечная тьмы.
Там жизнь ожидает другая,
в такую не верили мы.

О, если б среди асфоделей
в нестрашном античном аду...
Но нет! к изголовьям постелей
прозрачные тени идут.

Их вечная вахта ночная
и губ еле слышная дрожь...
«Ты слышишь? Ты помнишь? Ты знаешь?
Ты имя мое назовешь?»

Но с первым намеком рассвета
уже просыпается дом.
Будильники...Кофе.. Газеты...
Не помнит никто ни о ком.

1897 год

Три мальчика в гимназии Введенской,
три «русских немца» в курточках кургузых.
Стихов и скрипки легкое блаженство,
влюбленность, Петербург... Но тенью Муза
скользит меж ними, словно выбирая,
присутствует незримо в разговорах...
Так этот? Или тот высокий с краю?
Три мальчика — Фосс, Гун и Блок...
Который?..

Директор гимназии

Памяти Иннокентия Анненского

Директор гимназии, что Вы, как можно
рвануть воротник и схватиться за сердце,
и под расписанием железнодорожным
упасть, поражая вокзал Царскосельский
нелепостью явной подобной картины.
Директор гимназии не умирает
вот так, на пороге. Ему не по чину.
Он к смертному ложу питомцев собирает,
к служенью Отечеству их призывает,
рукою хладеющей благословляет,
(ремарка: все плачут) и мирно отходит.
Директор гимназии, смерть при народе,
почти на проходе — противна природе
устройства общественного...

Правда, вроде

Вы были замечены в стихописаньи...
Метель за порогом вокзального здания...
Щербатая лестница... Меркнувший свет...
И Музы в толпе окружающей — нет.

* * *

Никому не говорила: прощай!
ни во сне, ни тем более наяву,
и поэтому все со мной, среди всех живу.
Даже те, кого по году, по два, весь оставшийся век
не увижу — они со мной, и падает снег,
от которого мне тепло... И душа легка...
Кто по первому снегу в дом — я не знаю пока.
Но бессменна та особенная звезда,
под которой не говорят: прощай...
Никому... Никогда...

* * *

Как продолженье традиции вечной, —
в Смольном саду целовались беспечно,
в старом, глухом монастырском саду.
Дырка в заборе... Смешок приглушенный...
Господи, нам ли играть во влюбленных,
нам ли бояться — догонят, вернут...
Сорокалетье почти на пороге,
жизни — середина и века итоги,
но в монастырском саду над рекой —
черные рясы и белые платы,
сладость греха, неизбежность расплаты...
Да, виновата — и пусть виновата...
Воздух здесь что ли такой...

Гость

«От женщин подписи не требую,
контракт с рожденья заключен.
Их души проданы и преданы
мне до скончания времен.

И ты не будешь исключением,
когда завесят зеркала.
Стихи — не грех, и не прощение,
а подтвержденье, что — была».

Так говорил, бокал покачивая,
полночный гость в моем дому,
И объяснять, что это значило,
не собираюсь никому.

Петербургская любовь

У петербургской любви не бывает жилья,
угол какой-нибудь, ситцевые занавески.
Пьяные слезы, чахотка, большая семья,
ну и так далее... Все описал Достоевский.

Так, совершенно измучив себя и его,
требуя правды, но правде не веря при этом,
слезы со смехом мешать, у Пяти пресловутых углов
кликнуть извозчика, мелкую сунуть монету.

И фонари в дождевом ореоле стоят,
вечно забрызганы грязью чулки с башмаками...
«Что ты, извозчик?..» — «Ах, барышня, едем назад.
Что вы там прячете в муфте?.. Наплачешься с вами...»

Бедный извозчик, от ужаса спавший с лица,
самоубийцу везет к монастырской больнице...
У петербургской любви — только оттиск свинца,
только свинца типографского оттиск
на белой странице.

* * *

За тем окном живет семья чужая.
Я знаю этих штор зеленый цвет.
Я знаю: если люстру зажигают —
к ним гость, а если лампу — гостя нет.

Чужая жизнь, моей не задевая,
течет себе; а те, кто там в окне...
Один из них меня не вспоминает,
другая — и не знает обо мне.

ЧИТАЯ ПУ-СУНЛИНА

1.

Как два китайца из рассказов Ляо Чжая,
живем в изгнании, встречаемся тайком,
Пьем подогретое вино, перебирая
обрывки новостей о том, о сем.

Вино, свеча, печаль о Поднебесной,
стихи, халата шелковый атлас...
А тень любви светла и бестелесна,
пройдет — и не коснется больше нас.

2.

...и сказала дева плотнику Фэну,
что каждой любви отмерен срок,
что побег и измена — только пена,
если срок любви не истек.

Но ни слезы твои, ни вскрытые вены,
ни слова твои, ни твои дела...
Так сказала дева плотнику Фэну —
и ушла.

НОВЫЙ БРЕЙГЕЛЬ

1.

Здесь церковь, и мостик, с вязанкою дров
служанка, и возчик с упряжкой волов,
молочник с бидоном, ребенок с юлой,
и горы, и птицы и — Боже ты мой! —
охотники с гор, и хозяйки с базара,
мальчишки с коньками, торговцы с товаром, —
и с шумом, и молча, вприпрыжку, степенно,
по улочкам узким, извилистым стенам,
полям и дорогам, горам и равнинам,
в движенье, круженье... Но с краю картины
почти незаметны, нелепы, случайны
две маленьких тени, застывших в молчанье.

Под крупными хлопьями мокрого снега
в голландском, фламандском, российском — Бог ведал —
в каком городке... Два движения кисти,
художник заплачет, а зритель присвистнет.
И подпись художник внизу начертает,
а имя второе — никто не узнает.

2.

Маленькие фигурки на белом снегу,
черные стволы деревьев, графика веток.
Ничего не меняется на этой земле,
и зима по-прежнему — время черно-белых расцветок.
Маленький человек, я гляжу на тебя из окна,
ты часть пейзажа в пластмассовой раме.
Никогда, слышишь меня, никогда,
мы не встретимся, не будем дружить домами.
Ты не слышишь, ты уходишь сквозь ветер и снег,

по дорожке, протоптанной за помойкой.
Если и согласишь на мое окно, маленький человек,
увидишь отраженный профиль, зыбкий, нестойкий.
Ты персонаж Брейгеля... И чья вина,
что встреча и разговор невозможней,
 чем зимний дождик?
Приговоренные к одиночеству замерли у окна,
 каждый у своего.
 Их рисует какой-то другой художник.

* * *

Ты склеил фарфоровый чайник, японский, старинный.
Мы как-то смахнули его со стола неудачно.
Смеешься, что чайник, как новый, и я без причины
над тонкой заморской посудой горюю и плачу.

Вот мостик воскресший, и гейша с улыбкой ребенка,
и вишни, и Фудзи, и солнце по прежнему светит.
Но шрам остается на маленьком горле японки,
и память — о белых осколках на темном паркете.

* * *

Убивший ласточку возмездья не боится,
и призраков не видит по углам.
Она была душой? любовью? птицей? —
теперь неважно — кем она была.

Убивший ласточку приходит в дом старинный,
где зеркала хранят ее полет.
Он говорит темно, умно и длинно,
и знает, что никто не оборвет

его речей... И что вернется снова
сюда же он — но сгинул шелест крыл...
Мне жаль его. Но не скажу ни слова.
Он ласточку убил.

Вино урожая счастливого года...
Вот на этикетке прочитана дата,
и память скользнула в прозрачные воды
реки, что кружила и мчала когда-то
нас — только влюбленных и невиноватых.

А там, в виноградниках у Кечкемета,
тяжелые кисти на лозах повисли.
Клонилось к закату огромное лето
и перетекало в божественный рислинг.

Процесс виноделия не изучала,
но видела — в книге, в кино ли — не знаю:
идет винодел седоусый подвалом,
на грифельных досках года помечая.

И все, что случилось единственным летом, —
светило ли солнце, дожди ль выпадали, —
потом называется винным букетом,
достойным восторга, диплома, медали.

Три года вино дозревало в подвале,
три года мы жили любовью бездомной.
Что мы позабыли, что мы потеряли,
сегодня вино воскресит и напомнит.

И Бог седоусый в переднике синем, —
он списки проверит, он сделает сноски,
и все, что с тобой и со мною отныне
случится — запишет на разные доски.

Пока еще ночь продолжается наша,
и день не принес безотрадной свободы,
мы выпьем последнюю, светлую чашу
вина урожая счастливого года.

Родословная

Ничего уже не будет никогда,
и ничто не отразится в зеркалах.
На могилах вырастет лебеда,
все могилы эти — в других городах.

Мощные ветки на древе родовом...
Как они сходятся к низу листа.
Здесь они сомкнулись на имени моем,
и бумага дальше чиста.

Писем и открыток шуршащий рой,
пачка фотографий, нательный крест...
Вот мое наследство, мой замок родовой,
почерк неразборчив, незакончен жест.

Из Баталпашинской — во Владикавказ,
из Ростова-Дона — в иные места...
Я еще успею рассказать о вас,
я еще помедлю на краю листа.

* * *

Поступь трагедии заглушена разговором,
просьбой: салат передать и наполнить бокалы,
флиртом с соседом (когда бы мы знали, что скоро...),
смехом соседки (когда бы она замолчала...).

Только и вспомнишь: любовные злые тенёта,
сладкие вина и речи... Да вроде бы, вроде,
в хриплом дыханье пластинки послышалось что-то
(музыка чувствует первой, и первой уходит).

И ни к чему замечать промелькнувшую птицу
там, за окном — и черна ли, бела — все едино.
Наш продолжается праздник... а маятник мчится
в крайнее левое — из золотой благодатной середины.

* * *

Я уже не умру молодой,
этой чашей меня обнесли.
...Полустанок, заросший травой,
шум колес затихает вдали.
Даже в самый последний вагон
не вскочить... Не догнать, не успеть...
Под галдеж станционных ворон
остается стоять и смотреть,
как, тускнея, два красных огня,
исчезают за краем земли.
В этот поезд не взяли меня,
а родных — увезли.

Post-scriptum

Боре и Лёше

Садик у Греческой церкви и садик Сан-Галли,
садик «Россия»... Мы в садиках этих гуляли
розовым детством, которое было да сплыло,
но все-таки розовым,

розовым,

розовым было.

Три островка зеленели весной горделиво,
и ленинградские дети, в чулочках, пристегнутых криво,
тыча совками в песочные серые кучи
строили замки,

тоннели,

дороги...

И было бы лучше

это и знать друг о друге: название садика детства,
пару десятков стихов, телефоны... Куда же нам деться
в нашем подробном,

бесстыдном,

бессмысленном знанье

всех подноготных... Как саги ирландий, исландий
тянутся — не оборвать, так и нас триединая сага
намертво соединила...

На горе?..

На благо?..

* * *

Мы — дети центра, дворов-колодцев,
крысиных лестниц, где отзовется
малейший шепот — обвальным эхом,
где куст на камне сквозит прорехой.

Ах, нас ни Росси, и не Растрелли,
не удержали — мы жить хотели
сейчас, сегодня — и ордер ждали,
грузили мебель, переезжали.

Что ж на фасаде (ампир? барокко?)
сегодня меньше зажжется окон.
Фургон проедет двором знакомым,
свернет под арку — и нету дома.

* * *

Сахаром ли, солью в светлой воде
раствориться, не оставив следа...
Та, что любила тебя — ни на какой звезде
не существует больше... И никогда
не догонишь и не попросишь простить,
не прорвешься через земной окоём...
Долго будешь теперь эту воду пить,
узнавая сладость ее и горечь ее.

Памяти Г. С. Семенова

В салоне трамвая, за книгой...
В берете... Сутулый...
Хватило единого мига,
чтоб жизнь повернула
на десятилетье назад и
рванулась потоком,
трамвай, уходивший на запад,
направив к востоку.
И снова с тетрадкой у двери
стеснительно мучусь.
Кому-нибудь тайну доверить
корявых созвучий
так страшно... И фраза повисла:
«Простите... Прочтите...».
Еще не исполнено смысла
простое — Учитель.
И снег — это только примета
зимы — и не боле.
Еще мы не жмемся от ветра
на Волковом поле.
И десятилетье до мига
случайного схождения.
Сутулый... В берете... За книгой...
Ожоги сиротства...

* * *

Главное — успеть сжечь архивы,
чтобы ни словом, ни помыслом, никто, никогда
не коснулся дней моих — счастливых ли, несчастливых,
не обжегся болью моей... Моего стыда
не был оценщиком... Любопытства ради
(даже если с пользой — что с того!)
не листал пожелтевшие эти тетради,
не учился на моих ошибках... Никому — ничего,
кроме избранных мест из переписки с друзьями,
перепутанных инициалов, перевранных дат.
Позабудьте меня, не смотрите в пламя,
где мои архивы горят.

III. ФЛЕЙТА В НОЯБРЕ (2012)

Любимый цвет — сиреневый. Любимый цветок — естественно, сирень. На щите (если бы таковой был) начертала бы девиз: «Привяжи свой фургон к звезде». В следующей жизни мечтаю быть библиотечной кошкой — беречь книги от грызунов и читать, читать, читать...

* * *

Все перепады и безумства ноября,
все листья черные, все ветреные ночи,
когда вода в Неве вскипает, и не зря
правитель бронзовый по площадям грохочет.
И просыпаешься в постели не своей,
защиты ищешь у чужого дома.
Бездумная эротика ветвей,
раздетых ветром — так знакома.
Пусть обнаженность — только бы не ложь,
и шарф, как в детстве, кажется позорным..
Тогда стоишь в ночи с открытым горлом
и ждешь.

* * *

Версты долгого пути, перекличка поездов,
репродукторов ночные голоса...
Я хотела бы найти несколько прощальных слов,
да мешает света полоса.
Та, что мечется по стенам, потолку,
и не может ни остаться, ни уйти.
Та, что мерную спокойную строку
разбивает на «прощаю» и «прости».

А потом опять потянутся леса
вдоль гудящего железного пути.
И покажется, что пусто в небесах,
и покажется, что нету впереди
ничего...
Ни даже станции ночной,
чтоб единственный фонарь горел едва,
чтобы свет его метался надо мной,
отгоняя прочь прощальные слова.

* * *

На белой осыпи песка
у темно-серых вод залива
там, где форты, гранит, тоска
и ветра грубые порывы,
плотнее кутайся в пальто,
корми усердно стаю чаек
и повторяй: никто, никто
не виноват, никто не чаял,
что обернется сединой,
кошмаром, отсыревшей ватой,
то, что звучало: «Боже мой!
Благодарю тебя!» — когда-то.

Итак, — форты, гранит, пальто...
В перечисление нет резона.
Зато есть музыка, зато
ее парад, ее законы.
Маэстро, врежьте отходняк
на духовых, ударных, струнных,
ввергая чаек в кавардак
и сотрясая мир подлунный.
Средь неподсчитанных потерь
у кромки темно-серой бездны
мы слышим музыку — теперь,
когда она рукой железной
Все расставляет по местам,
безжалостно сметая ваты
кочки, как бесполезный хлам:
«благодарю»... «никто»... «когда-то».

* * *

Пустынное садоводство... Дожди, дожди...
Цыгане поворывают клубнику.
Болтаюсь между грядок, как Вечный Жид
ни уйти, ни остаться... А холод дикий.

И я включаю обогреватель в домике щитовом,
засыпаю, просыпаюсь в слезах, засыпаю снова.
И мелькают короткие сны, не помню о чем,
как вагоны пролетающего поезда грузового.

Чем я дальше от тебя, тем ближе к тебе,
а чем ближе подойду... Но какой холод
в садоводстве пустом... Перемен в судьбе
и в погоде — не предвидится. И так долго

путь еще до той последней черты,
где я стану тебе — не бывает ближе.
Только жаль — меня не увидишь ты,
только жаль, что и я тебя не увижу.

Элегия

... я по квартире малогабаритной
скользну во сне неслышно и незримо,
прислушаюсь к дыханию ребенка
и проведу рукою бестелесной
по клетчатой рубашке на полу,
не потревожив тех двоих, что слиты
на залитой луной тахте двуспальной.
... ты позвонишь мне завтра и расскажешь,
что допоздна сидел в библиотеке.
... а у меня короткое дыханье,
его опять не хватит на «прощай».

Нечисть

Из любовного омута — на Божий свет
выбралась, ошалело трясущей головой...
Говорят, что русалки живут по тысяче лет,
а потом становятся водой, волной под луной.

Говорят, что только там, на покато́м песчаном дне
начинается жизнь — а думают: тонут.
Говорят, что даже тебе и даже мне...
Много чего говорят про этот омут,

из которого выбралась все-таки ... Был непрост
путь наверх, но теперь я свободна, я с вами...
...Тяжелым серебром отливает мой рыбий хвост,
плачут дети,
крестятся бабы,
мужики бегут с батогами.

* * *

Я любила героя, слабака и зануду,
я любила такое, что и помнить не буду,
чтоб ни *urbi*, ни *orbi*, чтоб ни дна, ни затычки
человеческой скорби, многолетней привычке.

Я тебя отпускала, догоняла, молила,
я рыдала в *La Scala*, я волчицею выла,
ничего не хотела ни отдать, ни стреножить,
ни душою, ни телом не сдавалась... И все же

я любила — до точки в многотомном собрание
сочинений, к чьим строчкам не найдешь примечанья.
Прочитайте, поверьте, то ль клейму, то ли бейджу:
я любила до смерти. До своей. А до чьей же?

* * *

Как отрастают после стрижки волосы,
посмотришь в зеркало — опять копна,
так возвращается любовь — и лживым голосом
меня опять приветствует она.

Что, шелопутная, набегавшись, намаявшись,
опять пришла погреться у огня?
Такой дорогой я уже ходила,
такую стрижку я уже носила.
Прости меня.

* * *

Ты предал не женщину — Дом.
Там лампа неярко горела,
там шел разговор за столом
и ночь незаметно летела
со смехом и белым вином,
с бесчисленными чашками чая.
С любовью? Не знала о том,
и нынче — не знаю.
В предательстве есть чистота
последняя — известь и щелок.
В нем шероховатость бинта
и мятный сквозняк валидола.
Я знаю — коснется тепло
души сопредельной и снова —
поверю... Но примет ли Дом —
чужого?

* * *

Завелась в мужской породе
удивительная прыть:
одну любят — к другой ходют,
чтоб о первой говорить.

Для одной — мечты да строчки.
Целы ночи напролет
грезят, подперевши щечки,
как любимая придет.

Лучше бы во сне, вестимо,
наяву-то вас не трожь...
А еще у нелюбимой
борщ особенно хорош.

* * *

От равнодушия, жалости или
от безнадежности — видится это.
Мы ведь с тобою на даче не жили
вместе каким-нибудь северным летом.

Но вспоминаются чайник и чашки,
белая скатерть и блеск самовара,
ворот какой-то расшитой рубашки,
сахар и сливки... Ну чем мы не пара?

Только играем в чужие игрушки,
только друг друга «свободой» пугаем.
Грустно смеется всеведущий Пушкин,
счастье на общих путях предрекая.

Счастье... Цепи ежедневные звенья:
алая вишня, крыжовник зеленый.
Может, совместная варка варенья
больше, чем плач или сон разделенный...

Может... Полжизни потрачено даром.
Тихо пытит в неизвестном предместье
наш самовар, отражающий пару,
так никогда и не бывшую вместе.

* * *

В Мариенбурге не сойдемся никогда
под Гатчиной... Да мы и не бывали
на стареньком трясущемся вокзале,
не ждали поезда... Вернее, поезда
нас проносили мимо кособоких,
резных уродин позапрошлых лет.
Два этажа, ватерклозета нет,
и пляшет комарье под караоке.
... Люблю в Мариенбурге вечера
не рано, нет, но не сказать, что поздно.
Окно открыто в сад, сомлели розы,
уходит надоевшая жара.
Я белый китель вижу (о, повем
кому?...) и сердце бьется в напряженье...
Но электрички свист, ее движенье
сбивают ретро-чувства в сладкий крем.
В Мариенбурге плакать не дано,
в Мариенбурге сыро, то есть — зябко.
Геранью светится для должного порядка
в Мариенбурге каждое окно.
Ты никогда не встретишь там меня.
Мне легче: никого я там не встречу.
В Мариенбурге выдуманный вечер —
сырая тень болотного огня.

* * *

Гаражи... овраги... огороды...
Кладбища размытые границы...

Господи, ведь мы не для потехи,
просто пары грядок не хватало,
просто надо было здесь проехать,
а плита под колесо попала.

Ангелы Твои приходят ночью,
как перед грозой густеет воздух...
Господи, ведь зла никто не хочет,
может и для нас еще не поздно?..

Но — фундамент на костях заложен...
Но — картофель у креста посажен...

На краю надежды, в час последний,
Господи, прошу тебя — помедли.

* * *

Памяти Александра Гуревича

Он покупает лыжные крепления,
хотя диагноз точно обозначен.
Зима не за горами — только горы
ему теперь уже не одолеть.
Он говорит: пойдём от Сестрорецка
по льду на форт — и ничего не бойся,
мне приходилось в разных переделках
бывать — и с этой справлюсь как-нибудь.
Я притворяюсь, что о Сестрорецке,
и о походе лыжном по заливу
беседуем...
Над головой диагноз,
как ворон чёрный делает круги.
Подпятники, пружинки и зажимы
все надо выбрать с толком, с расстановкой...
О мужестве читала раньше в книжках...
Он покупает лыжные крепления...

Крест

Кто с кем стрелялся? Кто был убит?
Креста в бурьяне печален вид.
Раскинул руки, закрыл глаза
крест безымянный... И — в небеса
не кинет взгляда, не прокричит:
кто с кем стрелялся, кто был убит.
Из-за — актерки? туза червей?
Бурьян...могила... И крест на ней.

Дуэль... актерка... Дурной пошиб.
Звучали: Шипка, аул Гуниб,
Хива, Мукден ли... всё — край земли.
... В гробу свинцовом его везли.
Дорогой пыльной... песок и зной...
Дорогой долгой... везли домой.
Поручик юный? седой майор?
Крест сохранился до этих пор.

До окаянных, до наших дней.
Бурьян...могила... — и крест на ней.

Кутеж в духе Пиросмани

Душа ни на миг не становится старше,
и, внешним приметам не веря,
о, спойте, как встарь мне, погонщик, фонарщик
под бархатным небом Иверии.

По черной клеенке — что может быть проще!
белила с лазурью, да охра.
Наполните чаши, паломник, извозчик,
чтоб память в сердцах не засохла.

Звезда над духаном восходит хмельная
и песня к вершинам восходит.
Словами прощания я нарушаю
застолья обычаи, вроде.

Что делать, я к этой земле прикипела,
что делать, я вас полюбила.
Что делать, Важа, мне, скажите, Пшавела,
что делать, Нико и Далила?

Когда нас доводят до самого края,
когда мы и сами... Но может,
на белую скатерть кувшин водружая
с вином кахетинским, продолжим

застольную песню, которая старше
и выше всех счетов и рангов...
Извозчик, фонарщик, погонщик, духанщик,
художник, поэт, иностранка.

В курортном городке, где Лермонтов бывал,
заглядывал в Провал, нарзан пивал,
с девицами шутил, гадал им по руке,
а после был убит всё в том же городке —
сегодня снегопад...

До самого утра,
напившись кавминвод, гуляли юнкера.
Десантный полк стоит в курортном городке.
Чечня невдалеке, граница на замке.

И посетив Цветник, отведав серных вод,
я поднялась туда, где лермонтовский грот,
где бронзовеет бюст, начищен — нету сил.
Я поднялась туда и стала у перил.
...Шел тихий долгий снег...

Такая тишина
бывает меж боев, когда идет война.
Слепящей белизны бывает снег такой,
когда идешь с войны и знаешь, что — домой.

Война, войны, войне... Да что я и о чем?
Вон ворон пролетел над бронзовым плечом.
Устал, хотел присесть, но дальше держит путь.
Наверно, где-то там сумеет отдохнуть.
Наверно, где-то там (Чечня иль Дагестан?)
лежит его обед, и кровь течет из ран.
И снится, может быть: в далеком-далеке
неслышно снег идет в курортном городке.

Опять спускаюсь вниз. Погода — благодать.
Десантный офицер пытается пристать.
На водах — как всегда... А завтра — может быть...
Но музыке играть... Но женщинам — любить...
И шелест черных крыл не слышен в вышине,
и бронзовый поэт подмигивает мне.

Старые мультфильмы

Эти добрые медведи возле елки новогодней,
эти старые мультфильмы: волки, зайцы, дед Мороз.
Я — с насмешкою вчера лишь, с умилением — сегодня,
ну а завтра, ну а завтра не сдержать мне будет слез.

Волк идет тропой снежной, средь кустов петляет заяц,
ворон кружит, бобик служит, с веточкой плывет бобер.
Всяк свое имеет место и заранее известно,
кто умен, кто простодушен, кто труслив, а кто хитер.

Целлулоидные пупсы, разукрашенные книжки,
разудалые матрешки, красно-синие мячи.
И не дремлют на посту уполномоченные мишки,
у которых лапы чисты, опилки в сердце — горячи.

Стансы

Родившись в Ленинграде не умрешь
в Санкт-Петербурге. Не гонись за модой.
Ни шляпка с вуалеткою, ни брошь
от Фаберже — не сделают погоды.
Вернее, не изменят... Вечный смог,
распутица — зимой, а холод — летом.
И, если нас хранит зачем то Бог —
мы ничего не ведаем об этом.

По Караванной кто-нибудь пройдет
когда-нибудь, а я — по Толмачева.
На улице Перовской не живет
картинный Гоголь... (Не скажу ни слова
о тех деревьях, чья живая плоть
под электропилою здесь стонала).
А спонсоров сего, прости, Господь,
за вязь имен на глади пьедестала.

Мне чудится (нет, это я не вам,
и не в укор — но вспоминаю все же),
как поднимается спокойный светлый храм
во Имя и во Славу только Божью.
И женщина с измученным лицом,
которое — потом — в сияньи нимба,
и камни, что носила на крыльцо
она ночами — тайно, «анонимно.»

Блаженная... Ну что ж, да будет так!
Блаженны те, кто ничего не должен,
кто понимает — вложенный пятак
и поданный — все ж не одно и то же.
Кто отдает свой хлеб и чистит хлев,
кто благодарности бежит как скверны,

и для кого живая жизнь дерев
и человеческая — соразмерны.

Ах, шляпка, вуалетка, Фаберже!..
Но вырвана и скомкана страница,
где Ленинграду не бывать уже,
как Петербургу — больше не случиться.

* * *

Все декабристы жили близко,
никто не ездил на Гражданку.
Согласно всяческому «Запискам»,
они «езжали на Фонтанку».
Там, в теплом доме Муравьевых,
за чаем (или что там пили)
они готовились оковы
разбить и много говорили
о просвещении народа,
о том, что жизнь отдать готовы,
за идеалы — и свобода
ждала их радостно у входа,
ну, кто же знал, что — гробового.
Под утро выходили вместе,
туман вдыхали сыроватый...
Потом по Пестеля шел Пестель
и шел Рылеев по Марата.
Они царя убить хотели,
но мы их любим не за это...
За петербургские метели,
гусаров, жженку, эполеты,
за жен — отважных и не слишком,
за каторжные злые годы.
Еще — за молодость, за книжки
о них, за холодок свободы,
незнаемой... Скажи на милость,
вот так — собраться и решить...
Да, ничего не получилось
у них...

И к счастью, может быть...

Присутственное место

(картина Евгения Ухналева «Присутствие»)

В желто-зеленый цвет окрашена тишина.
Неприятный день, запах влажной уборки и пыли.
Лампочка под потолком горит одна,
забытая — непорядок, не погасили.

Только вчера здесь горе шепталось с другим
горем — и, вздрагивая от скрипа дверного,
ждали, что выйдет некто, имеющий нимб
власти над головой — и пойдет *vita nuova*

по форме 7 или 9, по выкопировке, по уму,
по чести и совести (действует месяц ровно).
Вот вам портрет державы: разрывая клеточком полутьму,
двуглавый в нарукавниках ставит печать любовно.

Мы родились и выросли в гуле присутственных мест.
Мы и умрем, наверное, с номером на ладошке,
стоя за этой, жизненно важной, — без коей свинья съест
и бог выдаст... «Кто принимает в седьмом окошке?».

* * *

Двух сумасшедших затяжной роман...
Свиданья у окна раздачи пищи,
за фикусом продавленный диван,
подъем, обход, поверка... В том жилище,

где шествие согбленных серых спин,
ног шарканье по плиткам коридора,
где в воздухе слова «аминазин»,
«электрошок», — стоят живым укором

тебе и мне — две тени у окна,
до потолка замазанного белым.
Им только тень от облака видна,
да ветки тень... Но разве в этом дело.

Мы сказочно богаты... Нам ли, нам
завидовать безумцам... В дождь ли, вьюгу,
вольны уйти... остаться... Но словам
не прозвучать: «Они нужны друг другу».

О смилуйся, дежурная сестра,
шуршащая халатом белым мимо.
Присядь за стол, усни, и до утра
забуди о нарушении режима.

За окнами всегдашняя зима
(которая — они уже не знают).
Они вдвоем... Им не сойти с ума,
о сумасшедшем мире вспоминая.

* * *

В. Халуповичу

Байрон — в Миссолонги, Мицкевич —
в Стамбуле,
где желтая холера, да черная чума.
Ветры азиатские заразу натянули,
расплавленное море свело с ума.

Ньюстеда и Вильны виденья прохладны;
снега не хватает или зелени сырой...
Может, так и надо, чтобы неповадно
было отрываться от земли родной?..

Впрочем, и родная... Догорает свечка
в деревянной церковке, и страшно в ночи.
Что там за гора? какого цвета речка?
на каком языке выстрел прозвучит?..

«Элегия»

По осенним склонам, из поезда обозримым,
мечутся сухие листья — из откуда-то в никуда.
Скорый называется «Элегия». Он мимо
деревень проносится, притормаживая в городах.

Счастливы его пассажиры, почти обитатели,
коих железные кони покорно везут,
мчащие на юга лечить предстательную,
щитовидную и прочую железу.

Если бы не сухие листья на склоне, склоне,
если бы не репродуктора голос ночной,
если бы не возникало в темном вагоне
странное чувство — назови его родиной или — виной.

Там, куда несется «Элегия», сиречь — «Мелодия»,
куда стекаются северяне всяя Руси,
где цветут аквилегии, и парами ходим мы,
потому что курорт без романа — Господи упаси!

Там... А на обратном пути будет падать
мелкий сухой снежок, но не в этом суть...
До бровей закутанные местные бабы
горячую картошку к поезду поднесут.

Здесь и заканчивается моя элегия, хотя скорый
благополучно доберется из А в Бе.
И — да здравствует нега юга! и без укора
запоздалая паутинка дрожит на деревянном столбе.

* * *

Казенная дача, любовной удачи
не скрыть от ушей за стеной.
На утренней кухне инкогнито рухнет,
того, кто был ночью с тобой.

И я здесь стояла, и я наблюдала,
как входит соседка, неся два бокала,
две ложки, две вилки, остатки салата,
ни в чем не виновна, а все ж — виновата.

Казенные стены, огромные уши.
Уткнуться в подушку, не слышать, не слушать,
как плачет ребенок и радио воеет,
как дышит прерывисто счастье чужое

Белая ночь

Белая ночь надвигается, как гроза
приближается — вспыхивают зарницы, мечутся птицы.
В ожидании белой ночи, опустив глаза,
ты заводишь речь о том, что никогда не случится,
но случилось... Твои аргументы — строй, хор,
воинство — но, Господи Боже,
почему каждый год начинается разговор
об одном и том же... Так свет в прихожей
зажигают, не думая. Это же дом,
здесь не надобно помнить, где выключатель.
Нелюбовь стала привычкой... Хотя бы в одном
мы едины так, что все засовы, замки, печати —
ни к чему. А далее — тишина, каркас
ржавеющей разлуки на скользкой осыпи.
— Слышишь, нелюбимый, белая ночь настигает нас...
— Прощай, нелюбимая. До темноты, до осени...

* * *

Пусть никто от женщины не берет
ни тепла, ни хлеба, ни даже — любви.
Думаешь — свободен, а счет растет,
и тебя когда-нибудь удивит.
Ты и позабыл тот — звонок? визит?
разговор полночный, дрожащий рот.
А она слова твои повторит,
переставит, может быть, переврет.
Вот она рыдает, кругом неправа,
вот и ты стоишь, дурак-дураком...
Вся твоя свобода — слова, слова,
плачущая женщина, остывший дом.

* * *

Злой девчонке завидую не за то,
что красива или умна,
а за то, что выбежит без пальто
и крикнет вслед: «Да пошел ты на...».
За то, что ее пылает злость,
ни креста не ведая, ни костра,
за то, что так мне — не довелось...
И уже не успеть, сестра.

Из серии «ЖЗЛ»

Мальчик подрастает в маленьком городке среди деревянных одноэтажных (пятиэтажных блочных). На окраине городка, в сущности — невдалеке запущенный парк и дворец, но мальчик не хочет там гулять (вариант: просит всегда маму, бонну, сестру, воспитательницу детского сада, отворить покосившуюся чугунную калитку, разрешить у пруда постоять, пошуршать листвой, встретиться взглядом с беломраморной, безрукой, беззащитно нагой). Руку отбили солдаты (туристы? дети?). Наверно, страшно так — одной, над черной водой... Мальчик учится одиночеству: (Вариант: ни за что на свете больше не ходит в парк, предпочитая... хотя бы лес). Далее — отец разоряется на бегах (получает наследство?). Переезд, похожий на бегство (бегство, похожее на переезд). Кончается детство. ... Он возвращается в родные места, увенчанный всеми лаврами (никому неизвестен). Дворец сгорел, пруд затянуло тиной, но та беломраморная — на прежнем месте. Он был расстрелян в юности, дожил до седины, мирно скончался в кругу семьи, подход на краю света... ...Черный пруд, белая статуя — мальчик один на один с будущим одиночеством... Судьба поэта. (Вариант: непоэта).

* * *

Мне просыпаться не лень, а незачем.
Мокрый октябрь ничего не сулит.
Так героиня Вацлава Ржезача
смотрит в окно, никого не винит,
ибо чего уж там... В бедной Моравии,
смутной Богемии, башенной Праге
дождь без конца — и не вправе, не вправе я
вас уверять, что словам на бумаге
надобно верить...

Осенней литании
дальние звуки над городом кружатся.
Господи, дай же мне миг понимания,
краткие слезы и долгое мужество.
Краткие слезы листвы облетелой,
долгое мужество лип и акаций
перед зимы бесконечным пробелом...
И научи — для чего просыпаться?

Форты

Вокруг Кронштадта — призраки-форты,
Чумной, Рисбанк, Тотлебен, Граф Милютин...
Я не люблю военных, простоты
приказа не приемлю... Голос лютни
Предпочитаю громовому: «За!»,
звучащему, как правило, басами.
«На нас идет военная гроза...»,
«Ура! Мы ломим...», «Не Москва ль за нами...»
Но все же, все же... Камень и вода,
хитросплетенье ржавой арматуры,
под корень вырубавшийся всегда
сегодняшний жилец — кустарник бурый...
Должно быть, страшно здесь...

И зябко, может быть...

А впрочем... Нелюбви слова иссякли.
Как хорошо здесь, как прекрасно плыть
к останкам грандиозного спектакля.
Я обожаю слово «каземат»,
произношу с улыбкою «бойницы»,
когда, минуя глыб гранитных ряд,
хочу к стене прохладной прислониться.
О, дряхлые чудовища войны,
невинные убийцы — век ваш долог.
Имперские блистательные сны,
которых не коснется археолог —
все, что осталось вам...

Как всех, кто пережил
мгновенья славы и года позора,
не лавр венчает вас — сурепка, девясил,
шиповник, может быть...

Но в поздних разговорах

Берег

Я для прощания выбрала берег, где мы никогда не были вместе и не любовались фортами, не проходили по кромке ноябрьского льда, узкий песчаный мысок оставляя за нами. Финский фундамент, доселе хранящий тепло, дома, который давно уже — пепел и ветер, не огибали с тобою... Что было — прошло, что не случилось — мы оба за это в ответе.

Вот и сегодня... Водю, гранитом, песком мир создается другой... Так от прошлой Суоми только всего и осталось — ограда и дом, то есть — намек на ограду и память о доме.

Но, в Лаппенранте ли, в Койволе, кто-то найдет в дальнем шкафу обжитого привычного рая в старом отцовском планшете блокнот–не блокнот, карту–не карту, рисунок, обрывок — не знаю. И — как ребенок, с бессмысленным: «Надо!» и «Дай!» — через посольства, запреты, таможни, границы межгосударственные — чтоб у кромки ноябрьского льда, у безъязыких камней, наконец, очутиться.

Берег пустой, очертанья фортов вдалеке, светлого неба прозрачность — ни птицы, ни дыма... Что ж — обретающий дом на прибрежном песке, и — потерявшая дом, на песке возводимый, встретятся взглядом на миг, и у самой воды вежливо повременят, уступая друг другу дорогу...

И разойдутся цепочками наши следы, и расплывутся на мокром песке понемногу.

* * *

Флейта играет в парке пустом.
ни для кого и ни о ком.
Воздух ноябрьский резок и сух,
рано темнеет — уже после двух.
Не различить на фоне деревьев
нищей старухи черный берет.
И не увидеть, как, флейту держа,
руки без варежек мелко дрожат.
Вход заколочен, продан дворец,
песенке флейты скоро конец.
Так почему же, в парке пустом
ни для кого?.. Может — по ком...

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

(вариации на тему)

1.

«Поедем на Острова», — говорили в детстве.
Добавляли «Кировские» — ну, так что ж.
Янтарная брошь в моем наследстве
никогда не будет брошкой — только брошь.

Как нелепо плакал Дягилев в Булонском лесу,
повторяя друзьям: «Поедем на Острова!..».
И добрые французы, ценители шампанского и дессу,
петербургские не понимали слова.

Атлантида опустилась на дно океана, синюю гладь
безжалостного неба не прережет аэроплан Блерио.
Я-то знаю, мне тоже пришлось повторять,
добавлять, растолковывать: «Поедем в ЦПКиО».

Но ни правда времени, ни пространства ложь
не удержат от того, чтобы вступить в права:
приколоть на плечо янтарную брошь
и обронить небрежно: «Поедем на Острова!»

2.

Было все. Ко мне приходила твоя жена.
Требовала ответа — но вопрос задать позабыла.
А я думала — надо ли ставить чайник, ведь она,
как ни крути — гостья... Что было, то было.

Было так. Я с любовником шла через зал,
а ты смотрел нам вслед — и черная сила
ревности бушевала... Потом он умер, и ты сказал,
что прощаешь меня — но я-то тебя не простила.

Вместо крови — клюквенный сок. Клятвы навек —
до аптеки, до фонаря — он светит вполсилы...
– Чем не Серебряный век, — сказал один человек,
которого ты не знаешь, которого я забыла.

3.

«И звучит эта адская музыка...»
Александр Блок

Петербургской зимой неуверенной
подмерзает на лужах ледок,
и проходит походкой размеренной
господин по фамилии Блок.

Птица Сири́н уже приближается,
Алконост собирается в путь,
и фонарь за окошком качается:
— Ничего. Как-нибудь... Как-нибудь...

Там, в смешенье святого и пьяного,
то ли Фофанов бьется в бреду,
то ли темные розы Ива́нова
на кронштадтском расстреляны льду.

4.

Серебряным веком, как полем и лугом
бредем, по привычке следя друг за другом.
Ревниво и злобно тропой междометий —
беззубые старцы, жестокие дети.

Осенние листья сменяются снегом,
так мерная поступь срывается бегом.
Из теплой эклектики — бурно и нервно
бросаемся жадно в объятия модерна.

Фонарь освещает все ту же аптеку.
как страшно, как больно в ночи человеку.
И только любовь... но Пьеро с Коломбиной
отметят, наверно, что не без причины,
ты ходишь, ты бродишь по улице темной,
такой безнадежный, несчастный, бездомный,
такой... Обрываются судьбы и строки.
И ты, неприкаянный и одинокий,
застынешь в ночи у решетки канала.
Знать, литература тебя доконала.

IV. ПАССАЖИРКА (2017)

В этой книге собраны разные стихи. В том числе — о любви, о человеческой трагедии, когда любимый человек уходит навсегда. Остаются воспоминания — светлые и не очень, веселые и грустные — словом, разные. Но пока мы помним — мы живем. И продолжает жить тот, кого уже нет.

А поезд грохочет над темной широкой рекой.
И что-то хрипит репродуктора голос ночной
на станции, имя которой навряд ли прочесть
в железнодорожной элегии будете честь
иметь, господа...

Начинается рокот колес,
и вечные жалобы на перекося и износ
сцеплений и соединений, фрамуг и осей,
и каждая втулка о горькой судьбине своей
поведать спешит, словно грешница в адском кругу.
Я здесь пассажирка, я здесь ничего не могу.
В какой-то конструкции шаткой (назвать не решусь)
я тоже вращаюсь, я тоже держу и держусь.
Мне страшно, особенно ночью, чуть менее — днем.
Мой поезд грохочет, быть может, последним мостом.
Но если бы верить (а лучше б, наверное, знать),
что рядом со мной не устанут держаться, держать,
возможно — со стоном, со скрипом —
но вместе со мной
и что никаким перегонам... И, Боже ты мой!
всего-то и будет — смертельная близость воды,
и снежного леса виденье, и белой звезды
спасительный луч, по которому — вместо моста,
когда в безымянную реку сорвется состав.

* * *

Гудок растерзанный в ночи.
Так дальний пароход,
когда уже — молчи, молчи! —
идет кормой вперед.
И раз-во-ра-чи-ва-ет-ся,
и ухаает вода,
и лампа-дрица-ца-ца-ца —
мотивчик навсегда.
Качался старенький фонарь
и ветер голосил.
Уж лучше бы — убей! ударь! —
так из последних сил
кричал нам ржавый пароход,
чтоб в поздний рейс скорей
сорваться, отказавшись от
надежных якорей.
Я все придумала, прости,
их не было и нет,
особенно меня, в горсти
сминающей билет.
Ни желтых листьев ноября,
ни дальнего гудка...
Остались только якоря,
что держат нас пока.

Баллада

У каждого свой постоянный двор,
и свой времени ход.
Твоим приятелем будет вор,
судьбу цыганка наврет.
А пиво пеной плеснет на стол,
хозяин выставит счет.
И все, зачем ты сюда зашел,
с пеной пивной уйдет.
С какой виной, за какой судьбой
ты здесь коротаешь ночь?
Цыганка и пиво, вечерний отбой,
ну, а наутро — прочь
пойдешь по дороге, пьяный и злой,
обманутый, обворов...
Уже не пустят тебя на постой
ни в один из других дворов.
А пиво — пеной, а вор — в карман,
а цыганка, за руку — хватать!
Напрасно зорю пробьет барабан,
тебе его не услышать.
Хозяин пиво твое допьет,
цыганке заплатит вор
твоим золотым — за то, что врет,
как всем врала до сих пор.
Но солнца лучи — по стеклу вразной,
и монета об пол звенит,
и вдогон цыганка бежит за тобой,
как ни за кем — бежит.
Быть может, ее безрассудство — вздор,
быть может, опять соврет...
Но это твой постоянный двор,
и твой времени ход.

* * *

«Идущий северным путем...» —
какая медленная фраза
...Подходит к берегу паром
и обрывает нить рассказа,
который странница вела.
Сейчас она сойдет на пристань,
перекрестясь на купола,
оглядывая берег низкий.

«Идущий северным путем...»
Над Волховом темнеют тучи.
И ветер с Ладogi, и дом
у крепости над самой кручей —
ты это вспомнишь, но потом,
когда замрешь, дышать не смея,
увидев вышивку крестом
в этнографическом музее.

* * *

И когда до смерти оставалось несколько дней,
и уже сгустились тучи, и — если б знать —
любовь прорвала плотину, и за ней
хлынули те слова, что мы боялись сказать.
Мы кричали по телефону, будоражили Интернет,
мы перестали сравнивать — что важней,
мы, наконец, поверили — смерти нет...
Нам оставалось несколько дней...

ЧЕРНЫЕ БАБОЧКИ

А. Д.

1.

Обещал присниться...Мы так шутили,
дескать, кто первым Туда попадет...
Обещание остается в силе.
Твой ход.

12.06.2011

2.

Твой халат надеваю,
прижимаюсь щекой к рукаву.
Не скажу: умираю,
но уже не сказать, что живу.

3.

На Алексея-с гор вода
пускают мельницы всегда,
молчавшие зимой.
А будет му́ка иль мука́,
никто не ведает пока,
ни мертвый, ни живой.
Рокочут мельницы весь день
пока не ляжет ночи тень
и не взойдет звезда
над черной мельницей, над той
любовью, страстью ли, виной
сожженной навсегда.
Мне этот остов так знаком,
он был мой свет, он был мой дом,
была мука в горсти.

Как мне задвижку отворить
и снова... Нет, не жить, но быть,
проговорив: «Прости!».
И провернутся жернова,
и я должна найти слова...
А будет му́ка иль мука́
Того не ведаю пока.

4.

Я не хочу тебя забывать,
но они предают меня.
Не так поскрипывает кровать,
и свет на исходе дня
не так ложится на пыльный паркет,
и чайник не так кипит.
Все делают вид, что тебя нет,
и жизнь бежит, как бежит

Потом забывает тело. Оно
прикидывается живым.
И подлая память с ним заодно,
кивая на мир и Рим,
меня уговаривает, что всегда
везде, испокон веков,
время проходит, уйдет черед
сумбурных, муторных снов.

Но я не хочу тебя забывать,
и переплавятся, как в котле
разумных доводов грозная рать,
и все, что на этой скудной земле
еще оставлено мне: покой,
и тихий вечерний свет —
в последнюю радость — быть с тобой,
забыв, что тебя нет.

5.

Между нашими мирами нет ни щелочки в стене,
но стоит только постучать, ты тотчас ответишь мне.
И дробится перестук то ли рук, то ли сердец,
на незаданный вопрос ты ответишь, наконец.
Из моей тюрьмы в твою птицы белые летят.
Из твоей тюрьмы в мою — черный ворон, тусклый взгляд.
Это значит — умер ты, это значит — я жива,
только «мертвый» и «живой» — это все слова, слова.
Бьюсь о стенку головой, кулаки сбиваю в кровь —
отзовись, не затихай, не пропадай, моя любовь.
Но глухой ответный стук все слабей день ото дня.
И я кричу: не уходи, погоди, дождись меня.

6.

Летите, голуби, летите
в тот светлый рай, в тот дымный ад.
Найдите, голуби, найдите
того, кто очень виноват
передо мной... И если в силах
вы передать такую весть,
скажите — я его простила,
спросите — долго ли мне здесь?..

7.

Бабочек черных рой
запутался в занавеске.
Ты их прислал за мной?
Нет оснований веских
думать, что это твой
зов — в никуда повестка.
Ты их прислал за мной?
Дрогнула занавеска.

8.

Ты хотел быть смотрителем маяка
на маленьком островке.
Чтобы подальше от материка,
чтобы не помнить о материке.

— А я? — А ты бы ко мне приплыла
на лодочке золотой.
И такие пошли бы у нас дела,
так бы зажили мы с тобой...

По ночам горит звезда твоего маяка;
белый луч тревожит, мечется, просит...
И лежит у воды на кромке песка
золотая лодочка без руля и весел.

9.

А вдруг там только поля, поля,
заросшие черными маками?
А вдруг там выжженная земля,
которую никто не оплакал?

И сердце заходится оттого,
что сгинем, как ешь и весь.
А вдруг там нет никого, никого...
Но нет никого и здесь.

10. Новогоднее

В Питере — пить,
в Питере — дождь,
в Питере жить
как — не поймешь.

Хлеба кусок, водки глоток,
и телефон, чтобы звонок
не пропустить — из небытия
голос забытый: «Пора. Это я».

СЮЖЕТЫ

1. Мемуары

Чужую жизнь пройдя до половины,
не обольщайся, из нее не выйдешь.
Все эти свадьбы, роды и крестины,
весь этот англиш, эспаньолос, идиш
тебя как черновик переиначат,
а может быть, сомнут или отбросят.
Чужим восходом будет день твой начат,
чужим закатом обернется осень.

2. Сериал

Нехорошие люди сидят у камина,
хорошие люди — просто у печки.
Нехорошие люди едят осетрину,
а хорошие — ловят плотвичку в речке.
Нехорошие девочки все в брюликах,
хорошие девочки — в платьях из ситца.
Нехорошие мальчики ездят на «бьюиках»,
а хорошим — на тракторе прокатиться б.
Но хороших девочек плохие мальчики
вдруг полюбят так, что даже не знаю.
А плохая девочка прикинется зайчиком,
и хорошего мальчика захомутает.
Тут ворвутся менты, бандиты вмешаются,
девочки-мальчики отстреливаются из оврага.
В конце концов, они повенчаются
и начнется триллер (то есть, семейная сага).

3. Средневековый детектив

В дождливом Уэльсе, зеленой Ирландии,
на севере диком туманной Шотландии
(рифма не очень, но ради истины...)
был монастырь. Озеро, пристани,
как полагается, стены, собор...
Библиотека в центральной башне.

Монах Ксаверий, замкнутый, грустный,
почти еретик, но травник искусный.
(Рифма опять не очень, но в те века
еще коряво складывалась строка
и пергаментов с хореем и ямбом
не нашлось бы в монастырской библиотеке).

Настоятельница соседнего монастыря,
румяная словно заря, но та еще фря,
гордая, как на небе луна,
заподозрена, ибо она
по мнению бдительной братии
слишком часто посещала библиотеку.

Женщина, как известно, сатанинский сосуд,
даже самые праведные из них лгут.
Под замок ее!.. Захлопнулись двери,
загремели засовы... И только Ксаверий
продолжает расследовать дело о
трупe в монастырской библиотеке.

Правда выходит на свет, но слишком поздно.
Факел в руке безумца сияет грозно.
Занимаются пергаменты, чадят переплеты,
осыпается киноварь, лазурь, позолота.

Мудрость вековая — человечья, Божья,
горит в монастырской библиотеке.

В дождливом Уэльсе, зеленой Ирландии,
на севере диком туманной Шотландии
был монастырь... И наши герои
исчезают в тумане. Хорошо, что их двое.
Позади догорает библиотека.
Библиотеки всегда горят.

4.

Вот женщина сидит и пишет,
нанизывает день за днем.
И каждая страница дышит
возмездием и торжеством

— Иных уж нет, а те далече,
но я — за тех и за других...
Упрямый взгляд, худые плечи
и штопаная шаль на них.

В безабажурном ярком свете
ее случайное жилье...
И кто, скажите мне, ответит
за душу бедную ее.

За этот почерк безупречный,
бумаги ледяную гладь,
за то, что отнята навечно
способность плакать и прощать.

5. Интернет

Разве *так* суждено меж людьми?
Александр Блок

Приближается ночь, зажигается свет,
отступают реалии дня.
Мы вольны все забыть, подключить Интернет,
оседлать сетевого коня.
Это Бостон... Из прошлого рвется: «ответь»...
Это Хайфа, — «забуди... отпусти»...
По ночам раскаляется жаростно Сеть
добела — от «прощай» до «прости».
Те, что были когда-то огня горячей
и роднее кого не найти,
тот, кто раньше — чужой, а сегодня — ничей, —
покаянно блуждают в Сети.
Разговор ни о чем, лёт коней сетевых,
догони, воскреси, обними...
Разве нас уже нет в теплом мире живых?
разве *так* суждено меж людьми?
Фотографии внуков летят по Сети...
Обрывается связь, никого не найти...

* * *

Я стала сентиментальна и зла,
жду подвоха от любого козла,
да и от подруг — ничего, кроме фиги.
Но как рыдаю в кладбищенской тишине,
или на концерте, где только мне
музыкант лабает что-нибудь из Респиги.
Все, кого любила (включая кота),
уже за чертой. Это та черта,
которую пересекают только раз.
Они меня манят издалека,
ну а с теми, кто здесь пока,
я в расчете. И свет погас.

* * *

Осенним яблокам,
гниющим в мокрой траве,
предпочла бы весенние,
но таких не бывает.
Впрочем, и весны давно уже не было.

* * *

Солнечный луч в ненастье
рассеивающий полутьму...
У меня прививка от счастья,
я не поверю ему.

* * *

Как хорошо душе, она высоко
в каких-то горних плачет одиноко.
А по земле еще влачится тело
кряхтит и ставит ноги неумело.

* * *

На чистые листы, взглянув едва,
я закрываю новую тетрадь.
Ведь я уже пережила слова,
которые могла бы написать.

Попытка хокку

В чужом альбоме
лицо твое узнала.
Люблю, как прежде.

* * *

Если ты перестала писать стихи, тебя нет нигде.
Имя твое расходитя, исчезает, словно круги по воде.
Выцветает тушь на свитке с птицею и звездой.
Не удивляйся ничему, оставайся сама собой.
Если тебя покинул голос, не отводи взгляд.
Попытайся смотреть вперед, не оглядываясь назад.
Где-то там впереди, мучительно далека,
горит, не остывает, единственная строка.
Ну, а быть ей началом или последней лишь —
это, как Бог рассудит, и ты решишь.

V. НОВЫЕ СТИХИ
(2018–2025)

АВГУСТ

1.

Август — время романов,
яблок, меда, Плеяд.
Августовские раны —
навсегда, — говорят.
Понимая, что поздно,
что попутал их бес,
августовские звезды
убегают с небес.
В их безумном паденье
и в последнем огне
есть простое решенье,
недоступное мне.

2.

Спасибо августу, спасибо,
за яблоки в чужих садах,
за то, что кто бы, с кем бы ни был,
он возвращается сюда,

где костерок чужой дымится,
и голос незнакомой птицы
звучит надрывно и тревожно,
как будто всё еще возможно.

Еще я вспомню поздний ужин
и быстрый взгляд чужого мужа,
не знаю — что, но, может быть,
придется что-нибудь решить.

В чужих садах желтеет август,
чужого мужа взгляд, как лакмус,
и яблок выдержанный мёд

так сладок, что немножко горек,
а птица улетит за море
и жизнь по-прежнему пойдёт.

3.

Вот подступает август, угрожая
всей полнотою жизни, урожаем
грибным и яблочным...
Полночным звездопадом
срывается, и всё идёт как надо.
Опомнись, оглянись — руины и развалы,
жизнь прожита не так, как верилось сначала.
Да, в колею вошла, да, правильна до нельзя,
но берега не те, не те созвездья.
И августа прощальное виденье
так совершенно, как произведенье
великого художника...
Что ж, вот наш
итог — воспоминанье бьет наотмашь

4.

Август сошел с ума, он бьет жарой,
насылает тяжкие сны, бессонницу чередует
с невозможностью проснуться.
Ты словно изгой
из разумного мира. Тебя прессует
чувство неотвязной вины. За то, что жива?
Как это смешно! Но вовеки не оправдаться,

потому что никто не отменял ни сны, ни слова,
после которых хочется сдать.

Август сошел с ума.

Где яблоки, астры, Плеяды,
благодатное занятие — собирать урожай,
все приметы августа? И не надо
и некому — выставить счета за потерянный рай.
Август, прощай!

Ты был временем любовников и героев,
ты сводил воедино, ты плел неразрывную нить
для двоих — один из которых (но об этом — не стоит),
а другая — но что о себе говорить!

БОЛЬНИЦА

1.

Больница учит радоваться дню
любому. Ведь могло и никакого
не быть. Изображала бы ты ню
в подвале морга, к вскрытию готова.
Ты думала, что тело — это храм
с лампадой разума, светло горящей,
а оказалось — это стыд и срам,
и хрип ночной, и кислый дух смердящий.
Но утро — это светлая пора,
приветствуя таблетки и уколы,
кряхтя, сползаешь с жесткого одра,
чтоб познавать азы больничной школы.

2.

Больница. Красные огни
соседней ТЭЦ. Бетон забора.
Раз уж попал сюда — не скоро
на волю выйдешь.
Не вини
 судьбу, удачу, невезенье,
а с должной кротостью прими,
что жизнь осталась за дверьми,
что правят головокруженье,
очередной укол, наркоз,
и трубка в рот, и трубка в нос.

3.

Вечерний свет залил палату
каким-то радостным огнем.
Как будто нету виноватых,
как будто каждый ни причем.
В лучах прощенья и забвенья
меж коек шествовал покой.
День был не светлым воскресеньем,
а ординарною средой.
На ужин дали гречку с чаем
(больничный рацион не ах).
И умер кто-то (кто — не знаю).
Ушел с улыбкой на губах.

Вишни

Все слова сказаны, все услышаны,
каждый говорит о своем.
А я молчу и ем вишни, я лишняя
за праздничным общим столом.
Вишни такие красивые, такие спелые,
так совершенны — не то, что слова.
Те, что написаны чернилами, тушью, мелом,
те, что умирают, родившись едва.
Если же заговорю, паче чаяния,
то невпопад, не с тем, не о том.
Все услышано, сказано — подступает молчание
и то, что потом.

* * *

И я себе сказала: не бойся никого,
с последнего вокзала уедешь далеко.
Огнем горят осины, желтеет березняк.
Для жизни нет причины, а смерть придет и так.
Поля и перелески, деревни, города,
воспоминаний всплески — холодная вода.
Ну что ж, я подписала отказ от всяких прав...
С последнего вокзала отправился состав.

* * *

На даче нет событий,
вернее, всё — событье.
От ежедневных питий
до комара убитья.
Поход до магазина
почти что ганнибалов.
Зашла соседка Зина,
ушла соседка Алла.
Но вот приходит осень
и все событья — на фиг.
Дней остается восемь,
семь, пять, четыре — *nothing*.
И город ближе, ближе,
а дача дальше, дальше.
И всё, что было, вижу,
как есть, без всякой фальши.
И прибавляю к прочим
полученным ответам,
что стала жизнь короче
ещё на лето.

* * *

Ползет старуха в туалет.
Успеет? Доползет?
Я думала, что смерти нет,
ан все наоборот.

Не то, чтоб беленький скелет
особенно страшил,
но хочешь получить ответ,
а ждать его — нет сил.

Старуха зажигает свет,
вершит свои дела.
И на сегодня смерти нет.
Успела. Доползла.

* * *

Все эти таволги да иволги,
и деревянных изб коньки
на белый свет тебя не вывели,
не исцелили от тоски.
Урбанистические выверты,
сигнализаций вой ночной
тебя опять-таки не вывели
на трассу истины простой.
И снова, снова в дачном поезде
куда-то едешь, не спеша.
И снова в бесконечном поиске
тоскливо мается душа.

* * *

Мне тебя не хватает.
Соль моей жизни? Сахар?
Иногда я путала одно с другим.
Неизменной была нежность,
с горькой примесью страха,
что очнемся, проснемся...
И только дым, дым...

* * *

Несбывшаяся жизнь сбывается во сне.
Вот, собственно, и всё.

Не надо просыпаться.

Ах, если бы, заснув, проснуться на Луне,
на Сириусе, на...

Простор для инкарнаций.

И навсегда остаться полутьмой,
все променять, оставить только имя
твое —

как герб,

как флаг

и как клеймо,

которое горит под взглядами чужими.

* * *

Разъедемся на Разъезжей, расстанемся на Расстанной.
Это Питер, дружок, он диктует нам график странный.
Колокольчиками — названия улиц, и я за ними, веруя,
словно за крысоловом из Гаммельна несчастная серая.
Возле Пяти углов в середине недели
целовались так жарко, как еще не умели
Нарушали запреты там, где запретов не было,
потому что Питер и не такое видал, не такое исследовал.
Мы с тобой сейчас на разных планетах, в других измерениях.
А кто умер из нас, не имеет большого значения.
Потому что Невский, потом поворот на Марата.
потому что вместе, как и были всегда. Когда-то...

Римская элегия

Фонтаны Рима, о когда б вы только знали,
какой мелодией вы для меня звучали.
От знаменитых вод фонтана Треви
я поднималась к мощному Паоло.
Листва осенних бронзовых деревьев
звенела, как латинские глаголы.
Там был фонтанчик, я ему дивилась.
Откуда взялся он такой, скажи на милость?
Две стопки книг, оленья голова
и кружево воды, заметное едва.
Я назвала его «Олень в библиотеке»
и, кажется, запомнила навеки.
Фонтаны Рима... Музыка Респиги...
Давным-давно прочитанные книги,
и медленное угасанье дня.
И убеждение (в квадрате, даже в кубе),
что тот, кто вслед кричал, как он меня не любит,
с такой тоской и страстью ждет меня.

Рождество-2020

Тех, кто празднует Рождество,
поздравлю, естественно, с ним.
Тех, кто не празднует Рождество, —
с добавочным выходным.
Тех, кто отпраздновал Рождество
по чужому календарю,
вторую рождественскую звезду
(мне не жалко) всем подарю.
А тех, кто не празднует Рождество,
и не ждет выходного дня,
помилуй, Господи, и прости
(и среди них — меня).

* * *

Собраться темным февралем
за дружеским столом.
Поговорить о том, о сем,
а главное — о том,
что жизни долгий часослов
к ревизии готов.
Осталось несколько листов
пустых, да пара слов,
подзадержавшихся в пути.
Они придут, дай срок.
Успеть бы их произнести
и подвести итог.

* * *

Эти старые фотки,
те, что собраны тут,
словно легкие лодки
вниз по Лете плывут.
И качает их Лета,
широка и вольна,
и нездешнего света
набегает волна.
Черно-белые или
сохранившие цвет...
Те, кого позабыли,
те, кого уже нет...
Оглянуться не смея,
покаянно молчишь.
И быстрее, быстрее
вслед за ними скользишь.

* * *

Чужие города мне снятся иногда.
Ведь можно иногда — в чужие города,
забыв печальный сон, в котором ты живешь,
поняв, что никогда туда не попадешь.
Смирение, пойми, дается, как презент,
украшенный пучком атласных алых лент.
А то, что этот цвет с кровавым слишком схож,
что делать! Без него покоя не найдешь.
Остынет слово «страсть», забудешь слово «блуд»,
затихни в уголке, тогда тебя поймут.
Так я живу, мой друг, в аду, как по фэншуй,
куда я — уж прости — тебя не приглашу.

* * *

Это всего лишь стены, так говорят друзья.
Друзья такие умные, им не верить нельзя.
Это всего лишь стены и вид из окна.
И дверь скрипит, как умеет только она.

Это всего лишь книги — бумага и коленкор.
Разве они заменят взгляд и живой разговор?
Это всего лишь чашка, в ней стынет китайский чай.
Что ж, допивай, прощайся и дверь запирай.

Чашка помыта, отдан последний том
отцовской библиотеки, продан дом.
Больше здесь нет ничего моего — ни стола, ни угла.
Это всего лишь жизнь. И она прошла.

* * *

Жизнь, как старые книжки,
никому не нужна.
Как обрывки, излишки
истлевает она.
Затихая навеки,
напоследок, навзрыд
голос библиотеки
из помойки звучит.
Уходя, исчезая,
предаваясь огню,
никого не прощаю,
никого не виню.

* * *

«И небо скрылось, свившись, как свиток»
(Откровение Иоанна Богослова,
глава 6, ст. 14)

Ангел, свивающий свиток, на нем города, страны, люди.
Ангел, свивающий небо, времени больше не будет.
Ангел не торопится, перед ним вечность.
Сегодня или завтра уйдут в бесконечность
мой дом, моя страна, мои родные,
и никто не вспомнит: кто мы такие.
Были мы «за» или «против» — одобряли? протестовали?
Ангел (такая работа) не разменивается на детали.
А всех виноватей я. Скажи на милость,
стихов не могла не писать, и этого не стыдилась.

Дамский роман

...и когда выпадала лишь черная карта,
и волной накрывали хула и молва,
словно Черчилль, романами Барбары Картленд
я спасалась тогда. Потому и жива.

Там маркиз с поселянкою, бедной, но гордой,
осторожно ведет о замужестве речь,
а какая-то подлая лордова морда
поселянку желает в бесчестье вовлечь.

Но маркиз начеку: пистолеты, дуэли,
поселянка, как водится, графская дочь.
Маскарад, похищенье, немного постели,
флёр д' оранжевый венчик и брачная ночь.

Немудреный сюжет, прописная интрига,
герцог графа сменяет, маркиза — барон.
Отчего же тогда до последнего мига
ты читаешь, ты в этот сюжет вовлечен?

Почему же поддельного золота чаша
с драгоценной посудой стоит наравне?
И, наверно, сестра мне другая Наташа
из классической горьковской пьесы «На дне».

* * *

Мы играли в Ремарка,
почему — не пойму.
Помню сполохи сварки,
рассекавшие тьму.
Помню: ром и текила,
кабачок с кораблем.
Помню: всё это было,
мы читали о том.

Бледный призрак трамвая,
сизый цвет мостовой.
Нашу жизнь проживая
мы равнялись по той.
Плыл прокуренный сумрак,
сквозь Берлин, Ленинград.
Ну а в том, что ты умер
разве кто виноват?

Принимая погибель
и твою, и мою,
на потрепанной книге
я присягу даю.

* * *

Прошлого больше нет?
Оно ушло, отболело?
Остался старинный буфет,
четыре чашки, да, собственно, тело
мое. Оно, как проклятое хранит
прикосновений память, шершавость ткани.
А потом доносится голос, он говорит
не разберу что. Узнаю только дыхание.
Ночью, когда замолкает проспект Большеви́ков,
и улица Антонова-Овсеенко тиха, как могила,
я подбираю скомканные обрывки слов
и утверждаю: все это было.
Ничего, кроме прошлого, у меня нет,
ах да, я забыла.
Остался еще старинный буфет
и четыре чашки. Пока не разбила.

Ангел-хранитель

*«Лишь вот этот плаксивый ангел
почему-то женского пола»*

Анна Гедымин

Считается, что ангелы не имеют пола,
на то есть причина,
не знаю какая, но мой ангел — точно мужчина.
Я абсолютно уверена в этом. Спросите: почему?
Да потому, что все его поступки — не по уму.

Там, где надо помедлить, он рубит с плеча,
и раздражается гневной речью, а надобно помолчать.
Вот и я такая же. За ним вослед
совершаю те же ошибки с минимумом побед.

Ангел, мой ангел, тяжелы тебе заботы мирские.
Ты ведь с небес, ты не родился в России.
Холодно в снежных полях, страшат пустынные дали.
Подозреваю — тебя за что-то сюда сослали.

Так и живем бок о бок не первый год,
вместе смеемся и плачем, ежели не везёт.
И уже ничего не исправишь: привыкли, срослись,
редко смотрим вверх, и все чаще — вниз.

После всего, беспомощно барахтаясь в звездной пыли,
если будет кого просить — умолю, чтоб тебя простили.
И запомню, подымаясь в рай? низвергаясь в ад?
радужных крыл размах, и прощальный взгляд.

* * *

«Те дома, где я жил...»
Алексей Давыденков

В моих домах живут чужие люди,
у них кровать не та, и стол не тот.
Другой пирог на незнакомом блюде
чужая женщина торжественно внесет.
Я тоже обживаю новый дом,
уже подчинена его законам.
Я знаю каждый шорох, и о чем
молчат деревья под моим балконом.
Три осени промчались, как одна,
и две весны стояли у порога.
Да, я привыкла к виду из окна.
Привычка — милость, данная от Бога.
Но иногда накатывает страх,
с чего не знаю. Только ветер свищет,
чужие тени прячутся в углах,
и я — всего лишь тень в чужом жилище

Годовщина

Перед нами лежит поле боя
зелёное, белое, голубое,
смотря по тому, что на нем цветёт.
Середина лета. Не знаю, какой год.

Все эти лютики, васильки, ромашки —
язык природы, её любовь, её обнимашки.
И тут приходит человек с железом и сталью.
(Я ни о ком конкретно, я просто с печалью).

Зелёное, белое, голубое
становится красным — это цвет героев.
Голодное вороньё над полем кружит,
тела героев — неплохой ужин.

Разноцветный мир на моих глазах сгинул,
я иду через поле, где расцветают мины.
Зелёного, белого, голубого больше нет,
торжествует красный — не люблю этот цвет.

* * *

Всё случается слишком поздно,
нетороплива судьба.
Благоприятные звезды,
что мне их ворожба?..
Замолкаю на полуслове,
и удача не греет,
и от поздней любви
зимним холодом веет.

* * *

Мужчина, надевающий штаны,
неловок, суетлив и неопасен.
Он весь в заботах: выверты жены,
капризы тещи, неудачи в классе
детей... Он был с тобою дотемна,
он будет жизнь с тобой, весна ли, осень.
Закрой глаза, в переплетеньях сна
отметь, что он кальсон опять не носит,
что плохо выглядит, что слишком много пьет,
что вид его смурней и виноватей,
и что не налезает на живот
пивной штаны... Да и вообще в кровати
уже не так с ним, то есть — ничего,
но, кажется, что раньше лучше было.
И что его, его лишь одного,
любить ты будешь, как всегда любила.

* * *

Этот ужас осеннего сада
каждый год уходит навсегда.
Увядание встретить как надо,
не сломаться, не сдаться, когда
ветер бедные листья полощет:
то уронит, то снова взметнет.
И соседка — кленовая роща —
напоследок огнем полыхнет.
Нежным яблонькам, трепетным вишням
каково им? А нам каково?
День и ночь ветер времени свищет,
не прощающий нам ничего.
Словно листья любимых уносит,
и надежды сминает, как сор,
завершая последнюю осень,
обрывая любой разговор.

Баллада о Керлавероке

И когда, наконец, приберет меня Бог
или черт — то не будет ни ада, ни рая,
а попаду я в замок Керлаверок
(Он в Шотландии, кто не знает).

Окруженный водой, с подъемным мостом,
полуразрушенный, но еще крепкий.

Я увидела его на фото, а потом
прочитала о нем в Интернете заметку.

И как будто что-то толкнуло в бок,
или зазвучали колокола, но стало ясно,
что предназначен мне замок Керлаверок,
а я ему — и возраженья напрасны.

Так бывает — родился не там, прожил не так,
короче, неправильно выбрано место.

Но пробил последний час, и отдан пятак
лодочнику Харону.

Куда везет — неизвестно.

Но вот из воды поднимаются стены, звучит рог,
лодка причаливает, ты растерянно ступаешь на пристань.

— Как называется это место?

— Керлаверок.

И теперь вовеки веков, отныне и присно
предназначено тебе мелькать на валах
крепостных,

пугать туристов в замковых переходах,
оборачиваться Белой Дамой, узником в кандалах,
не замечая осени, весны, капризов погоды.

И сколько бы не выбирала в жизни дорог,
какие бы ни манили светлые дали,
но из тумана появится замок Керлаверок,
плеснет вода,
лодка Харона причалит.

VI. СТИХИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В КНИГИ

Так получилось, что эти стихи никогда не были напечатаны. Но они мне дороги, поэтому я рискнула, наконец, отпустить их на свободу.

Волынский — Еропкину

От самых беззаботных дней
до траурной последней ленты.
Так не любовниц, не друзей,
так выбирают конфидентов.

Еще за дружеским столом
не избегаем неких тем,
но сокровенно, о своём
кому повем, кому повем?

Сомкнется черная вода,
и эшафот, как постамент.
Что нам останется тогда,
душа моя, мой конфидент?

Что остаётся в этот час?
Друг друга ощупью найти,
облобызать, не торопясь,
и три ступени вверх пройти.

...А помнишь, дымная свеча,
рассвет морозный на двоих.
И город рассечен сплеча
мечом твоих перешпектив.

Указа свежий черновик
на чертежи твои летит...
В азарте сброшенный парик
на бюсте Цезаря висит.

1984 г.

За облаками на горнем склоне
(и день погожий, и склон зеленый)
играют веселые ангелытки
в Божий футбол и Святые прятки.

Старенький ангел воду из фляжки
пьет и ворчит на племя младое.
А за кустами, в красной рубашке
черт с поклажею за спиною.

Стоит растерянный — вот незадача.
И что понесло его этой тропой?..
Тут и попал в него ангельский мячик,
и черт его ловко отбил ногой.

Да так закрутил — на зависть «Кайрату»,
«Зениту»... да что там земной футбол!
Ангел (с восторгом): «Даёт хвостатый!».
Черт (гордо): «Играл за третий котел!»

Потом свой груз на поляну сбросив,
и пот отирая со лба рукою,
черт достал самодельные папиросы.
Ангел (с испугом): «Да нам за такое...

Вот, не хотите ль испить водицы?
Впрочем, простите, — она святая...
Ну как там жизнь за нашей границей?
Хреновая? И у нас такая...»

Черт раскупорит адский сбитень,
ангел разломит краюху хлеба...
А Воинство Ада готово к битве,
и готово к отпору Воинство Неба.

1985 г.

* * *

Явилась в край наш в браслетах узких,
в цыганских юбках, в цветастой блузке.
Кружилась, пела, и легкой силой
чужого мужа заворожила.

А наши земли — песок да скалы,
а наши жены темны, усталы.
Детей рожают и лепят хлебы,
и редко смотрят в пустое небо.

Но тихо звякнут в саду браслеты,
О чем же песня? — о да, об этом.
О нашем крае, вершинах горных,
о наших женах в одеждах черных

О покаянье неотвратимом,
о чужеземке, прошедшей мимо.

1988

* * *

Достопримечательности осматривая с супругой
(медовый месяц, берега Рейна)
к развалинам замка в коляске цугом
подъезжать, мечтая о холодном рейнвейне.

Проснуться утром в гостинице «Розенкрейцер»,
достать Бедекера, чтобы перед Катюшей
казаться самым умным, почти европейцем.
(Катюша сонно: «Я слушаю, слушаю...»).

«А мама пишет: в саду поспела сморода...
Ну, его на сегодня этого мейстерзингера...».
Летнее утро благословенного года.
Хозяйка умиленно: «Ah russische Kinder!».

Солдат в окопе и сестра в лазарете,
и добрая хозяйка под вдовьей вуалью
порознь — но вспомнят об этом лете
со скорбью, ненавистью и печалью.

1988 г.

Начало века

«Не плачь, не плачь, мое дитя...»

М. Ю. Лермонтов

О чем ты думаешь, дитя,
декабрьским вечером морозным,
к стеклу замерзшему шутя
прикладывая пальчик розовый.

Пока протаянный глазок
не затянуло слоем дымчатым,
ты видишь улицу, снежок,
фонарщика в пальто коричневом.

Фонарь зажжется голубой
И дворник затворит ворота.
— *It's time to sleep, my dear boy!* — *
тебя мисс Джексон поторопит.

Канун рождественских чудес
подарков, пряников с корицей....
И звезды смотрятся с небес
в каналы северной столицы.

Но ты заплакал, мальчик мой,
ты так испуган и растерян.
Два ангела в тиши ночной
явились у твоей постели.

Один закрыл лицо плащом,
то ль от стыда, то ль от бессилья.
Другой же, с огненным челом,
победно расправляет крылья.

* Пора спать, мой дорогой мальчик! (англ)

О мальчик, мальчик...Теплый дом
тебя любовно обнимает.
Ты защищен всем Рождеством
пока еще...Усни, не зная...

В полях Галиции седой,
в подвалах за железной дверью,
тебе не выжить, мальчик мой,
птенец, студентик, офицерик.

И о тебе ли, о стране
моей — два ангела рыдают,
и что там видится во сне
на рубеже веков?.. Кто знает...

1989 г.

Ученик

Я ученик мастера, который дважды
в день проходит мимо, на нас не глядя.
Мастера, которого знает каждый
в Италии — и есть чего ради.
Я растираю краски, готовлю ужин,
бегаю за вином в самый зной.
Иногда кажется — я ему не нужен,
иногда — он все же доволен мной.

А сегодня — радость: застежки сандалий
крайнего ангела в нижнем ряду
он доверил мне. Другие писали
складки на одежде, травинки в саду
райском, а Пьетро — даже руки,
но неудачно — он всё затёр.

...Я один в мастерской... Слышатся звуки
колокольцев — стада возвращаются с гор.
Никого... Азы живописной науки
перепутались в бедной моей голове,
но я знаю — как должны быть написаны руки,
каждый палец, каждая складочка на рукаве.

Я ученик — без лица и имени,
мимо которого — дважды в день...
Но я беру кисть и — Боже, прости меня! —
подхожу к полотну...

Какая-то тень
позади меня в дверном проеме
застилает свет уходящего дня.
Не оборачиваясь, знаю — кроме
мастера — некому...

И он не гневается на меня.

1989 г.

Декабристки

И только женщины останутся...
Взойдет последняя заря,
возки со ссыльными потянутся
и закричат фельдъегеря.

И маршем коронационным
пройдут отец, и друг, и брат.
Мундиры, сюртуки, погоны
о совершившемся смолчат.

Но вот — с прошениями, с посланьями,
то бестолковы, то мудры,
приходят женщины в собрания,
в присутствия и на пиры.

Им будут сотни раз отказывать,
на них прикрикнут, им солгут.
И захихикают приказные,
и передачи не возьмут.

Но платья траурной материи,
как вызов и последний бой...
Снега, снега над всей империей,
над Петербургом, Колымой,

над жизнью бывшей, жизнью нынешней,
над тьмою шахт и лагерей,
над головою много видевшей
бессонной бабушки моей.

.....
...Стоят вдоль желтая стены,
где все черны и все равны,

не разберешь — где дочь, где мать...
И глаз от снега под ногами,
истоптанного сапогами,
не оторвать...

1989 г.

Кассандра

А завтра может быть последний
день... На реке смеются прачки.
Поспорили печник и медник,
сосед везет песок на тачке.

Он строит новый дом для сына
(сын за невестой уехал)...
Взметнется неба половина
и рухнет на другую сверху.

Ополоумевши от дыма,
оглохнув и ослепнув сразу,
успею вспомнить, что любимой
ты не назвал меня ни разу.

Вот почему я жду у дома,
что станет пеплом и золою,
одна, привычно и знакомо,
в ночи под мартовской звездой.

Пока не побледнеет небо,
не звякнет где-то цепь колодца,
в пекарне не запахнет хлебом,
и день последний не начнется.

1989 г.

Остров Голодай

Стал Голодаем бывший Холидей...
Так праздник заменяется кладбищем.
Чем шкипера плясали веселей
с подругами своими — тем сильнее
и безнадежнее чухонский ветер свищет
над островом... Могилы пятерых
уже достаточно для славы жутковатой.
А бедная земля ничем не виновата
живет... Болотце. Ряд берез кривых...

— О лодочник, вези меня скорей
июньской ночью смутной и прозрачной,
когда друзья разъехались по дачам,
а может быть, и нету тех друзей.
Не спрашивай: зачем плыву опять,
не удивляйся моему занятию...
— Гражданочка, не ездят в черном платье
ни на пикник, ни воздухом дышать.
А ежели могила здесь и есть,
(а говорят, что здесь могил не счесть),
то всё давно исчезло, заросло,
кто зарывал — те знали ремесло.

— И всё таки вези. Пусть нету сил
на большее, чем плач и челобитье.
ИХ ремесло — убийство и сокрытие,
а наше — только поиски могил.
И не скудеют оба ремесла,
и слышен над заливом плеск весла,
и всходит в небе кроткая звезда,
от ужаса краснея и стыда.

1990 г.

* * *

Как пережить ноябрь, как переждать январь,
как не сойти с ума ни в декабре, ни в марте,
перебирая «если б не...». Так встарь
«Ах, если б не Груши!», — твердил Буонапарте.

Гранитный островок... Окно горит в ночи...
Грохочет ветер отошедшим ставнем...
Друзья или враги?.. Теперь не различить.
Предательство?.. Любовь?.. Знак равенства поставлен.

Разложена походная кровать.
Что ж, утро вечера мудрей, поскольку — старше...
...Стараясь объяснить, пытаюсь доказать,
то ль ветер рвется в дом, то ль опоздавший маршал.

1995 г.

Содержание

| | |
|-------------------|---|
| Предисловие | 3 |
|-------------------|---|

I. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ (1990)

| | |
|---------------------------------------------------------------|----|
| «Откуда чайка знает...» | 9 |
| СЕМЕЙНАЯ ЛЕГЕНДА | 10 |
| В булочной | 12 |
| У кладбища | 13 |
| «На лампе — бронзовый завиток...» | 14 |
| «Оба деда моих мне явились во сне...» | 15 |
| В ШЕСТНАДЦАТЬ ЛЕТ | 16 |
| 1. «Как пел соловей под балконом...» | 16 |
| 2. «И черные ветки в тумане...» | 17 |
| 3. «Сказала: “Лучше б умереть...”...» | 18 |
| Баллада о портрете | 20 |
| «Над каменщиком смилуйся, Христос...» | 23 |
| Ущелье Армхи | 24 |
| Литератор | 25 |
| Каролина Павлова | 26 |
| Хозяйка салона | 27 |
| Поварской переулоч. | 29 |
| «Пале-Рояль» | 30 |
| БИБЛИОТЕКА | 31 |
| «Муравей построил дом...» | 33 |
| «“Как страшно...” — сказала душа...» | 34 |
| «Грядет капитальный ремонт...» | 35 |
| В больнице | 37 |
| Путешествие во времени. | 38 |
| ЗАПИСЬ НА ПОЛЯХ АРМЯНСКОЙ РУКОПИСИ | 39 |
| «Дом расселен и пойдет на слом...» | 41 |
| Романс о Грибоедове | 42 |
| «Это русское счастье — расчистить, засеять, собрать...» | 43 |
| «Публий Далмаций Агенобарб...» | 44 |

II. СТИХИ. ВТОРАЯ КНИГА (1996)

| | |
|---------------------------------------|----|
| «В тот год оркестры духовые...» | 49 |
| «И красная, и желтая звезда...» | 50 |
| ЧУМА | 51 |

| | |
|-------------------------------------------------------|----|
| «Как я любила бы эту землю...» | 53 |
| «Мир стянут нитями авиатрасс...» | 54 |
| «Рассказ о любви: офицер, актриса...» | 55 |
| «И нету ни ада, ни рая...» | 56 |
| 1897 год | 57 |
| Директор гимназии | 58 |
| «Никому не говорила: прощай!...» | 59 |
| «Как продолжение традиции вечной...» | 60 |
| Гость | 61 |
| Петербургская любовь | 62 |
| «За тем окном живет семья чужая...» | 63 |
| ЧИТАЯ ПУ-СУНЛИНА | 64 |
| 1. «Как два китайца из рассказов Ляо Чжая...» | 64 |
| 2. «...и сказала дева плотнику Фэну...» | 64 |
| НОВЫЙ БРЕЙГЕЛЬ | 65 |
| 1. «Здесь церковь, и мостик, с вязанкою дров...» | 65 |
| 2. «Маленькие фигурки на белом снегу...» | 65 |
| «Ты склеил фарфоровый чайник, японский, старинный...» | 67 |
| «Убивший ласточку возмездья не боится...» | 68 |
| «Вино урожая счастливого года...» | 69 |
| Родословная | 70 |
| «Поступь трагедии заглушена разговором...» | 71 |
| «Я уже не умру молодой...» | 72 |
| Post-scriptum | 73 |
| «Мы — дети центра, дворов-колодцев...» | 74 |
| «Сахаром ли, солью в светлой воде...» | 75 |
| «В салоне трамвая, за книгой...» | 76 |
| «Главное — успеть сжечь архивы...» | 77 |

III. ФЛЕЙТА В НОЯБРЕ (2012)

| | |
|----------------------------------------------|----|
| «Все перепады и безумства ноября...» | 81 |
| «Версты долгого пути, переключка поездов...» | 82 |
| «На белой осыпи песка...» | 83 |
| «Пустынное садоводство... Дожди, дожди...» | 84 |
| Элегия | 85 |
| Нечисть | 86 |
| «Я любила героя, слабака и зануду...» | 87 |
| «Как отрастают после стрижки волосы...» | 88 |
| «Ты предал не женщину — Дом...» | 89 |
| «Завелась в мужской породе...» | 90 |
| «От равнодушия, жалости или...» | 91 |
| «В Мариенбурге не сойдемся никогда...» | 92 |

| | |
|--------------------------------------------------|-----|
| «Гаражи... овраги... огороды...» | 93 |
| Крест | 95 |
| Кутеж в духе Пиросмани | 96 |
| «В курортном городке, где Лермонтов бывал...» | 97 |
| Старые мультфильмы | 98 |
| Стансы | 99 |
| «Все декабристы жили близко...» | 101 |
| Присутственное место | 102 |
| «Двух сумасшедших затяжной роман...» | 103 |
| «Элегия» | 105 |
| «Казенная дача, любовной удачи...» | 106 |
| Белая ночь | 107 |
| «Пусть никто от женщины не берет...» | 108 |
| «Злой девчонке завидую не за то...» | 109 |
| Из серии «ЖЗЛ» | 110 |
| «Мне проспать не лень, а незачем...» | 111 |
| Форты | 112 |
| Берег | 114 |
| «Флейта играет в парке пустом...» | 115 |
| СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК | 116 |
| 1. «Поедем на Острова», — говорили в детстве...» | 116 |
| 2. «Было все. Ко мне приходила твоя жена...» | 116 |
| 3. «Петербургской зимой неуверенной...» | 117 |
| 4. «Серебряным веком, как полем и лугом...» | 117 |

IV. ПАССАЖИРКА (2017)

| | |
|----------------------------------------------------|-----|
| «А поезд грохочет над темной широкой рекой...» | 121 |
| «Гудок растерзанный в ночи...» | 122 |
| Баллада | 123 |
| «Идущий северным путем...» | 124 |
| «И когда до смерти оставалось несколько дней...» | 125 |
| ЧЕРНЫЕ БАБОЧКИ | 126 |
| 1. «Обещал присниться... Мы так шутили...» | 126 |
| 2. «Твой халат надеваю...» | 126 |
| 3. «На Алексея-с гор вода...» | 126 |
| 4. «Я не хочу тебя забывать...» | 127 |
| 5. «Между нашими мирами нет ни щелочки в стене...» | 128 |
| 6. «Летите, голуби, летите...» | 128 |
| 7. «Бабочек черных рой...» | 128 |
| 8. «Ты хотел быть зрителем маяка...» | 129 |
| 9. «А вдруг там только поля, поля...» | 129 |
| 10. Новогоднее | 129 |

| | |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| СЮЖЕТЫ | 131 |
| 1. Мемуары | 131 |
| 2. Сериал | 131 |
| 3. Средневековый детектив | 132 |
| 4. «Вот женщина сидит и пишет...» | 133 |
| 5. Интернет | 134 |
| «Я стала сентиментальна и зла...» | 135 |
| «Осенним яблокам...» | 136 |
| «Солнечный луч в ненастье...» | 137 |
| «Как хорошо душе, она высоко...» | 138 |
| «На чистые листы, взглянув едва...» | 139 |
| Попытка хокку. | 140 |
| «Если ты перестала писать стихи, тебя нет нигде...» | 141 |

V. НОВЫЕ СТИХИ (2018–2025)

| | |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| АВГУСТ | 145 |
| 1. «Август — время романов...» | 145 |
| 2. «Спасибо августу, спасибо...» | 145 |
| «Вот подступает август, угрожая...» | 146 |
| «Август сошел с ума, он бьет жарой...» | 146 |
| БОЛЬНИЦА | 148 |
| 1. «Больница учит радоваться дню...» | 148 |
| 2. «Больница. Красные огни...» | 148 |
| 3. «Вечерний свет залил палату...» | 149 |
| Вишни | 150 |
| «И я себе сказала: не бойся никого...» | 151 |
| «На даче нет событий...» | 152 |
| «Ползет старуха в туалет...» | 153 |
| «Все эти таволги да иволги...» | 154 |
| «Мне тебя не хватает...» | 155 |
| «Несбывшаяся жизнь сбывается во сне...» | 156 |
| «Разъедемся на Разъезжей, расстанемся на Расстанной...» | 157 |
| Римская элегия | 158 |
| Рождество-2020. | 159 |
| «Собраться темным февралем...» | 160 |
| «Эти старые фотки...» | 161 |
| «Чужие города мне снятся иногда...» | 162 |
| «Это всего лишь стены, так говорят друзья...» | 163 |
| «Жизнь, как старые книжки...» | 164 |
| «Ангел, свивающий свиток, на нем города, страны, люди...» | 165 |
| Дамский роман | 166 |
| «Мы играли в Ремарка...» | 167 |

| | |
|---------------------------------------------|-----|
| «Прошлого больше нет...» | 168 |
| Ангел-хранитель | 169 |
| Годовщина | 171 |
| «Всё случается слишком поздно...» | 172 |
| «Мужчина, надевающий штаны...» | 173 |
| «Этот ужас осеннего сада...» | 174 |
| Баллада о Керлавероке | 175 |

VI. СТИХИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В КНИГИ

| | |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Волынский — Еропкину | 179 |
| «За облаками на горнем склоне...» | 180 |
| «Явилась в край наш в браслетах узких...» | 181 |
| «Достопримечательности осматривая с супругой...» | 182 |
| Начало века | 183 |
| Ученик | 185 |
| Декабристки | 186 |
| Кассандра | 188 |
| Остров Голодай | 189 |
| «Как пережить ноябрь, как переждать январь...» | 190 |

Наталия Перевезенцева
Разъедемся на Разъезжей

ООО «Издательство «ОСТРОВ»

Директор Л. И. Амирханов

zitadel@bk.ru

Формат 84×108/32. Усл. печ. л. 10,29. Бумага офсетная.

Тираж 150 экз.

Подписано в печать 3 сентября 2025 г.

Напечатано:

Типография Арт-Экспресс

Санкт-Петербург, ул. Уральская, 17, корп. 4

Телефон: +7 812 331-33-22

Почта: zakaz@3313322.ru